

С.М.
СОЛОВЬЕВ

ИСТОРИЯ РОССИИ
1740–1748



История России с древнейших времен

Сергей Соловьев

**История России с древнейших
времен. Книга XI. 1740–1748**

«Public Domain»

Соловьев С. М.

История России с древнейших времен. Книга XI. 1740–1748 /
С. М. Соловьев — «Public Domain», — (История России с
древнейших времен)

Одиннадцатая книга сочинений С.М. Соловьева включает двадцать первый и двадцать второй тома «Истории России с древнейших времен». Она освещает события со второй половины 1740 по 1748 г. периода царствования императрицы Елизаветы Петровны.

Содержание

Двадцать первый том	5
Глава первая	5
Глава вторая	83
Конец ознакомительного фрагмента.	91

Сергей Михайлович Соловьев

«История России с древнейших времен»

Книга XI. 1740—1748

Двадцать первый том

Глава первая

Брауншвейгская фамилия

Устав о регентстве Бирона. – Странность в распоряжении о наследстве престола. – Распоряжения регента. – Ропот народный. – Неудовольствие гвардии. – Движение отдельных лиц против Бирона. – Ссора Бирона с принцем Антоном Брауншвейгским. – Сцена между ними в чрезвычайном собрании министров, Сената и генералитета. – Отношения Бирона к цесаревне Елисавете. – Бирон и Миних. – Миних арестует Бирона. – Анна Леопольдовна – правительница; Миних – первый министр. – Пожалования. – Анна Леопольдовна и Юлия Менгден. – Миних и Остерман. – Движения против Миниха; его отставка. – Суд над Бироном и всеми помогавшими ему в достижении регентства. – Приговор над ними. – Страх перед Минихом. – Внутренняя деятельность правительства при Анне Леопольдовне. – Разлад между правительницей и ее мужем. – Движение против Остермана. – Линар. – Внешняя деятельность правительства. – Обзор состояния Европы в конце 1740 года. – Отношения России к Австрии, Пруссии и Швеции. – Шведская война. – Сношения русского двора с прусским по поводу шведской войны. – Отношения России к Польше и Саксонии, к Турции, Персии, Дании, Англии и Франции. – Цесаревна Елисавета Петровна, ее положение при императрице Анне, при Бироне и Анне Леопольдовне. – Ее сношения с французским посланником Шетарди и шведским Нолькеном. – Положение Елисаветы во время шведской войны. – Движение гвардии. – Переворот 25 ноября 1741 года.

Императрица Анна скончалась; присягают внуку ее, императору Иоанну III Антоновичу; но император новорожденный младенец, кто же будет управлять? В сенатской типографии печатают устав о регентстве: покойная государыня распорядилась, будет регент. Устав вышел из типографии; в нем читают: «По воле божеской случиться может, что внук наш в сие ему определенное наследство вступить может в невозрастных летах, когда он сам правительство вести в состоянии не будет; того ради всемилостивейше определяем, чтоб в таком случае и во время его малолетства правительство и государствование именем его управляемо было чрез достаточного к такому важному правлению регента, который бы как о воспитании малолетнего государя должное попечение имел, так и правительство таким образом вел, дабы по регламентам, и уставам, и прочим определениям и учреждениям, от дяди нашего, государя императора Петра Великого, и по нем во время нашего благополучного государствования учиненным, как в духовных, военных, так в политических и гражданских делах поступано было без всяких отмен. К чему мы по всемилостивейшему нашему матернему милосердию к империи нашей и ко всем нашим верным подданным во время малолетства упомянутого внука нашего, великого

князя Иоанна, а именно до возраста его семнадцати лет, определяем и утверждаем сим нашим всемилостивейшим повелением регентом государя Эрнста Иоанна, владеющего светлейшего герцога курляндского, лифляндского и семигальского, которому во время бытия его регентом даем полную мочь и власть управлять на вышеозначенном основании все государственные дела, как внутренние, так и иностранные, и сверх того в какие бы с коею иностранною державою в пользу империи нашей договоры и обязательство вступил и заключил, и оные имеют быть в своей силе, как бы от самого всероссийского самодержавного императора было учинено, так что по нас наследник должен оное свято и ненарушимо содержать. Не менее же ему, регенту, по такой ему порученной власти вольно будет о содержании сухопутной и морской силы, о государственной казне, о надлежащих по достоинствам и по заслугам к Российской империи всяких награждениях и о всех прочих государственных делах и управлениях такие учреждения учинить, как он по его рассмотрению запотребно в пользу Российской империи изобретет. А ежели божеским соизволением оный любезный наш внук, благоверный великий князь Иоанн, прежде возраста своего и не оставя по себе законнорожденных наследников преставится, то в таком случае определяем и назначиваем в наследники первого по нем принца, брата его, от нашей любезнейшей племянницы, ее высочества благоверной государыни принцессы Анны, и от светлейшего принца Антона Ульриха, герцога Брауншвейг-Люнебургского, рождаемого, а в случае и его преставления – других законных из того же супружества рожденных принцев, всегда первого, и при оных быть регентом до возраста их семнадцати же лет упомянутому ж государю Эрнсту Иоанну, владеющему светлейшему герцогу курляндскому, лифляндскому и семигальскому; в таком случае, ежели б паче чаяния по воли божеской случиться могло, что вышеупомянутые наследники, как великий князь Иоанн, так и братья его, преставятся, не оставя после себя законнорожденных наследников, или предвидится иногда о ненадежном наследстве, тогда должен он, регент, заблаговременно с кабинет-министрами, и Сенатом, и генералами-фельдмаршалами, и прочим генералитетом о установлении наследства крайнее попечение иметь и по общему с ними согласию в Российскую империю сукцессора избрать и утвердить; и по такому согласному определению имеет оный Российской империи сукцессор в такой силе быть, якобы по нашей самодержавной императорской власти от нас самих избран был. И яко мы вышеописанное определение по довольному и здравому рассуждению в пользу нашей империи и всех наших верных подданных учинили, того ради и чрез сие всемилостивейше повелеваем, чтоб все государственные чины в управлении по должностям своим дел оных регенту были во всем так, как нам, послушны и в пользу империи все его повеления и учреждения исполняли. А между тем неизменно уповаем, что оный определенный от нас регент по имеющей чрез многие годы к нам верной ревности оставшей нашей императорской фамилии достойное и должное почтение показывать и по их достоинству о содержании оных попечение иметь будет. И яко, с одной стороны, такое регентское правление его любви герцогу курляндскому натуральным образом не иначе как тягостно и трудно быть может и он сию тягость при

Этот акт был напечатан 18 октября; на другой день, 19 числа, печатают указ императора Иоанна III: «По указу его императорского величества, будучи в собрании, Кабинет, Синод, Сенат обще с генералами-фельдмаршалами и прочим генералитетом по довольном рассуждении согласно определили и утвердили: его высококняжескую светлость от сего времени во всяких письмах титуловать по сему: его высочество, регент Российской империи герцог курляндский, лифляндский и семигальский». И только через четыре дня вышел указ императора титуловать высочеством «вселюбезнейшего его государя отца принца Антона Ульриха».

Заметили странность в распоряжении о наследстве: в случае бездетной смерти императора Иоанна ему должны были наследовать родные братья его *от того же брака* Анны Леопольдовны с принцем Антоном. Это распоряжение имело такой смысл, что если бы принц Антон и все сыновья его умерли или если бы Анна Леопольдовна развелась с принцем Анто-

ном и вышла замуж за другого, то дети ее от второго брака лишались права на престол, следовательно, это право делалось принадлежностью не внука царя Иоанна Алексеевича, но принца Антона Брауншвейгского. Распоряжение о престолонаследии составлял Остерман, в котором трудно было предположить ненамеренное допущение такой странности; гораздо легче предположить, что Остерман, будучи самым ревностным приверженцем принца Антона и зная нерасположение к нему жены его, Анны Леопольдовны, хотел этим выражением – «от того же брака» – заставить ее сохранить брачную связь с принцем Антоном. Бестужев, писавший распоряжение о регентстве Бирона, должен был повторить это условие, чтоб не розниться с только что объявленным манифестом о престолонаследии. Более внимательные могли заметить и другую странность в упомянутых актах: при вопросе об избрании государя и о новом регентстве, в случае если бы Бирон сложил с себя звание регента, необходимо было участие кабинет-министров. Сената и генералитета, о Синоде ни слова; только когда надобно было дать Бирону титул высочества, то является и Синод.

Как бы то ни было, в первые минуты все эти распоряжения прошли беспрепятственно, и герцог курляндский стал управлять Российской империей; беспрекословное повиновение всех оправдывало последнее слово умирающей Анны своему фавориту: «Небось». Бирон начал милостями. Еще в царствование Анны был возвращен из ссылки князь Александр Черкасский и жил в своих деревнях; теперь регент возвратил ему камергерский чин и позволил приезжать из деревень в Москву и другие места и жить свободно, где захочет. Василию Кирилловичу Тредиаковскому из конфискованного имения Волынского выдано 360 рублей, сумма, равная годовому жалованию Василия Кирилловича. Издан был манифест о строгом соблюдении законов, о суде правом, беспристрастном, во всем, повсюду равном, без богоненавистного лицемерия, и злобы, и противных истине проклятых корыстей; избавлены были от наказания преступники, кроме виновных по двум первым пунктам – воров, разбойников, смертных убийц и похитителей многой казны государственной. Сбавлено на 1740 год по 17 копеек с души. Сделано распоряжение, чтоб часовым в зимнее время давались шубы, ибо в великие морозы без шубы они претерпевают великую нужду. Бирона-фаворита упрекали за роскошь, введенную им в царствование Анны; Бирон-регент запрещает носить платье дороже четырех рублей аршин.

Из других распоряжений в регентство Бирона заметим следующие. Президент Коммерц-коллегии фон Менгден успокоился, уверившись, что немцы не пропадут, и представил в Сенат, что необходимо из кадетского корпуса взять в Коммерц-коллегию четверых кадет, двоих русских и двоих иностранцев, и быть им под особенным присмотром президента в офицерском ранге и с офицерским жалованьем, а когда несколько лет в коллегии послужат и окажут усердие в делах, то производить их на вакантные места в члены коллегии, чтоб не было нужды искать посторонних. Сенат, признав это дело «весьма полезнейшим», потребовал от Кабинета общего рассуждения, после которого предложение Менгдена было одобрено. При этом ни Сенат, ни Кабинет не обратили внимания на то, зачем потребовано кадет равное число из русских и из иностранцев? После уничтожения Главного магистрата в Петербурге оставалась ратуша, но еще в 1739 году велено было Сенату иметь рассуждение об учреждении в Петербурге магистрата; теперь Сенат доложил, что за многонужнейшими делами рассуждения о магистрате учинить невозможно; но до учреждения магистрата не соизволено ль будет определить ныне в ратушу одного члена с жалованьем; этому члену необходимо быть для того, что в нынешней ратуше без главного командира бурмистры, ежегодно переменяющиеся, не имеют ни попечения о порядках городских, ни смелости к защите самих себя, отчего петербургские горожане пришли в крайнее изнеможение. Соизволение последовало, и таким членом от короны был сделан статский советник Языков.

Сенаторам действительно было не до рассуждения о петербургском магистрате: были дела многонужнейшие, общество волновалось под невыносимым гнетом стыда, оскорбленного народного чувства. Тяжел был Бирон как фаворит, как фаворит-иностранец; но все же он тогда

не светил собственным светом и хотя имел сильное влияние на дела, однако, довольствуясь знатным чином придворным, не имел правительственного значения. Но теперь этот самый ненавистный фаворит-иноземец, на которого привыкли складывать все бедствия прошлого тяжелого царствования, становится правителем самостоятельным; эта тень, наброшенная на царствование Анны, этот позор ее становится полноправным преемником ее власти; власть царей русских, власть Петра Великого в руках иноземца, ненавидимого за вред, им причиненный, презираемого за бездарность, за то средство, которым он поднялся на высоту. Бывали для России позорные времена: обманщики стремились к верховной власти и овладевали ею, но они по крайней мере обманывали, прикрывались священным именем законных наследников престола. Недавно противники преобразования называли преобразователя иноземцем, подкидывшем в семью русских царей; но другие и лучшие люди смеялись над этими баснями. А теперь въявь, без прикрытия иноземец, иноверец самовластно управляет Россиею и будет управлять семнадцать лет. По какому праву? Потому только, что был фаворитом покойной императрицы! Какими глазами православный русский мог теперь смотреть на торжествующего раскольника? Россия была подарена безнравственному и бездарному иноземцу как цена позорной связи! Этого переносить было нельзя.

Даже иностранцы, недавно приехавшие в Россию, не могли не заметить, что на лице каждого из русских была написана горесть, вследствие чего надобно ожидать всевозможных беспокойств и смятений; русские понимали, что герцог курляндский унизил их государыню в глазах целой Европы и покрыл ее вечным стыдом, который она унесла с собою в могилу. В негодовании и горе они жаловались и на несправедливость, оказанную цесаревне Елисавете; говорили, что если уже регентом непременно должен быть иноземец, то более прав имел на него отец императора, принц Брауншвейгский; другие говорили, что если уже надобно подвергаться неудобствам государева малолетства, то почему же не призван на престол молодой герцог голштинский, который по летам своим мог бы гораздо скорее освободить Россию от регентства, чем Иоанн Антонович. Замечая всеобщее неудовольствие, иностранные министры писали об опасном положении регента и объясняли его желание занимать эту должность страхом очутиться в Митаве в кругу надменного и беспокойного дворянства, которое его ненавидит, страхом быть принуждену удалиться в свои имения Вартенберг в Силезии или Биген близ Франкфурта-на-Одере, где он был бы в руках австрийского или прусского правительств, одинаково ему враждебных. Уже толковали, что для утверждения себя в России Биронне ограничится регентством, что он соблазнится примером персидского Кулы-хана, который свергнул с престола молодого шаха и сам занял его место; уже толковали, что Бирон, равнодушный к цесаревне Елисавете, женится на ней и таким образом приобретет право на престол русский.

Эти толки усиливали всеобщее недовольство новым порядком, которое высказывалось в разных слоях общества при удобных случаях. Роптали, слыша, как в церквях после императора, его матери и цесаревны Елисаветы поминали иноверного герцога Курляндского. Роптала гвардия. Во всех дворцовых переворотах в России в XVIII веке мы видим сильное участие гвардии; но из этого вовсе не следует, что перевороты производились преторианцами, янычарами по своекорыстным побуждениям, войском, оторванным от страны и народа; не должно забывать, что гвардия заключала в себе лучших людей, которым были дороги интересы страны и народа, и доказательством служит то, что все эти перевороты имели целью благо страны, производились по национальным побуждениям. Гвардия была против Бирона; гвардейцы говорили громко, публично: «Теперь нечего делать, пока матушка-государыня не предана земле; а там, как вся гвардия соберется, то уж...».

Гвардия ждала погребения Анны, чтоб начать действовать против ее распоряжения относительно регентства. Но в гвардии были люди, которые по природе своей не могли долго ждать. Поручик Преображенского полка Петр Ханыков, стоявший в Летнем дворце на карауле во время кончины Анны, когда услышал, что правителем назначен Бирон, не утерпел и сказал:

«Для чего так министры сделали, что управление империею мимо родителей императора поручили герцогу Курляндскому?» Через два дня, 20 октября, Ханыков приехал на стройку казарм и, увидавши сержанта своего полка Алфимова, опять не утерпел и сказал: «Что мы сделали, что государева отца и мать оставили? Они, думаю, на нас плачутся, а отдали все государство какому человеку, регенту! Что он за человек? Лучше бы до возраста государева управлять отцу императора или матери». Алфимов отвечал: «Это было бы справедливо». Согласие сержанта ободрило Ханыкова, он продолжал: «Какие вы унтер-офицеры, что солдатам об этом не говорите! У нас в полку надежных офицеров нет, не с кем посоветоваться и надеяться не на кого, разве вы, унтер-офицеры, станете об этом толковать солдатам. И я уже об этом здесь при строении казарм и в других местах многим солдатам говорил, и солдаты все на это позываются, говорят, что напрасно мимо государева отца и матери регенту государство отдали, и бранят нас, офицеров, также и унтер-офицеров, для чего не зачинают, что если им, солдатам, зачать нельзя, и, как был для присяги строй, напрасно тогда о том не толковали. А кабы гренадерам только сказал, то б все за мною пошли о том спорить: они меня любят; и офицеры, побоявшись того, все б стали солдатскую сторону держать. Только я, скрепя уже свое сердце, гренадерам о том не говорил, для того что я намерения государыни-принцессы не знаю, что угодно ли ей то будет.

На другой день сержант Алфимов встречается еще с офицером Михайлою Аргамаковым, который говорит то же самое и еще сильнее плачет: «До чего мы дожили и какая нам жизнь? Лучше бы сам заколол себя, что мы допускаем до чего, и, хотя бы жилы из меня стали тянуть, я говорить этого не перестану». Алфимов тотчас передал Ханыкову, что нашелся надежный офицер, с которым посоветоваться можно. «Если бы я, – сказал Ханыков, – повидался с Михайлою Аргамаковым, посоветовался бы с ним и провели бы от государыни принцессы, угодно ли ей это будет, то я здесь и Аргамаков на Петербургском острове учинили бы тревогу барабанным боем и гренадерскую свою роту я привел бы к тому, чтоб вся та рота пошла со мною, а к тому б пристали и другие солдаты, и мы б регента и сообщников его, Остермана, Бестужева, князь Никиту Трубецкого, убрали. Ко мне Трубецкой и добр был, только он с ними больше в тех делах сообщником имеется и у регента на ухе лежит; однако завтра пойду на Васильевский остров и увяжусь с Михайлою Аргамаковым. Слышал я от солдата Преображенского полка, который ходит к регентовым служителям, что регентово намерение есть ко всем милость показать, между тем и в Преображенский полк больших (высоких ростом) из курляндцев набрать, отчего полку будет красота: вот, ничего не видя, хотят немцев набрать и нас из полку вытеснить».

Ханыков в своих разговорах обнаруживал больше всего злобы на Остермана и князя Трубецкого и тем показывал, как мало в гвардии знали настоящие отношения и расположения лиц, стоявших наверху; это, разумеется, происходило оттого, что высокопоставленные лица не отличались смелостью, не имея средств и способностей действовать впереди во имя известных интересов и убеждений, отличались осторожностью и скрытностью в такое смутное и тяжелое время, и если кому из них случалось проговориться, то, испугавшись, старался еще более притвориться усердным к существующему порядку, еще более надвинуть маску на лицо. Остерман был знаменит этою осторожностью, этим притворством, и, разумеется, никакие Ханыковы не могли проникнуть в глубину его души и усмотреть неприязнь к регенту, тогда как в действительности эта неприязнь была сильная: Бирон, и не будучи еще регентом, не мог переносить *оракула* и сначала подставил против него Волынского, а теперь Бестужева, вследствие чего Остерман перестал быть душою Кабинета; а в регентство Бирона он должен был опасаться еще худшего: с Бестужевым ему нельзя было ужиться, а Бестужев не Волынский. Люди более проницательные, чем Ханыков с товарищами, министры иностранные писали, что Остерман поставлен в унижительное положение, в каком до того времени никогда не был. Генерал-прокурор князь Никита Трубецкой в первом порыве негодования проговорился, перед кончиною Анны он имел неосторожность сказать: «Хотя герцога курляндского регентом и избирают, только, как

скоро императрица скончается, мы это переделаем». Императрица скончалась, герцог курляндский был провозглашен регентом – и генерал-прокурор является одним из самых ревностных его приверженцев, и это не противоречило его прежнему заявлению; он говорил: «мы переделаем», а не «я переделаю», и так как множественного числа не оказывалось, то князь Никита в единственном числе служил Бирону, возбуждая этим неудовольствие патриотов.

Ханыков не знал, на кого особенно сердиться: погубил его не князь Никита Трубецкой, хотя, как ему казалось, и лежал на ухе у регента; погубил его и не хитрый иноземец Остерман, погубил его другой кабинет-министр, Бестужев-Рюмин, главный приверженец Бирона по тесной связи своих интересов с интересами регента, потому что Бестужев держался только Бироном и необходимо падал вместе с ним. 22 октября Алфимов был у другого сержанта, Акинфиева, и здесь встретился с вахмистром конногвардии Камыниным, который говорил: «Хотят ныне к солдатству милость казать и за треть жалованье выдать, доимку не взыскивать и, с которых доимка взята, возвратить; а из гвардейских полков дворян отпустить в годовой отпуск и вычетными из жалованья их деньгами хотят казармы достраивать и тем солдатство и всех приводят к милости. Чудесно, что господа министры допустили кого править государством! Вот мне и дядюшка Бестужев, а какой он министр? Вот коли бы Михаила Аргамаков сделал подписку...» Но агент-подстрекатель не дождался подписки и в тот же вечер донес дядюшке Бестужеву на Ханыкова, Аргамакова и Алфимова, которые на другой же день были арестованы; на пытке они не сказали ничего нового. Бестужев служил верную службу своему благодетелю – Бирону. Капитан Бровцын рассказывал кабинет-секретарю Яковлеву: «Однажды, будучи на Васильевском острове с несколькими солдатами, плакал я о том, что Бирон учинен регентом; увидя это, Бестужев погнался за мною с обнаженною шпагою, так что я насилу мог уйти в дом Миниха».

Другой кабинет-министр, *тело* Кабинета, князь Черкасский, не отстал от Бестужева в верной службе регенту. О движениях Ханыкова знали другие офицеры и действовали против Бирона, когда Ханыков был уже схвачен. Служивший в Ревизион-коллегии подполковник Пустошкин еще 6 октября, когда узнали о назначении принца Иоанна наследником престола, имел со многими разговоры, что надобно от российского шляхетства подать челобитную о назначении регентом принца Брауншвейгского. 21 октября он был в гостях у кабинет-секретаря Яковлева и говорил о том же с другими гостями, причем хозяин Яковлев сказал: «Чем вам там пустое балякать, подите о том бейте челом чрез графа Остермана или князя Черкасского, а ежели меня спросят, то знаю я, на каком основании то делано». На другой день Пустошкин явился к князю Черкасскому и объявил, что их собралось много, между ними офицеры Семёновского полка, а из Преображенского поручик Ханыков и все они желают, чтоб правительство было поручено принцу Брауншвейгскому. Когда Черкасский спросил, кто его к нему послал, то Пустошкин отвечал, что послал его граф Михайла Головкин. От Черкасского Пустошкин отправился к графу Головкину и рассказал ему, в чем дело; Головкин отвечал: «Что вы смыслите, то и делайте: однако ж ты меня не видал и я от тебя сего не слыхал; а я от всех дел отрешен и еду в чужие края». Головкин был из числа вельмож, недовольных настоящим регентством; как родственник принцессы Анны по жене (урожденной Ромодановской, двоюродной сестры императрицы Анны по матери), он надеялся получить важное значение, если бы Анна была назначена правительницею; при ссоре принцессы с Бироном в последнее время царствования Анны Головкин стал на сторону принцессы и позволил себе «вольные речи» о фаворите, за что подпал гневу императрицы, а теперь, при регентстве Бирона, был от всех дел отрешен и ехал в чужие края. Головкин отрекся от всякого участия в предприятии против Бирона; но Черкасский пошел дальше: он отправился к регенту и донес на Пустошкина, который и был схвачен.

Офицеры, хотевшие свергнуть Бирона, разнились относительно вопроса, кому быть его преемником: одни указывали на мать, другие – на отца императора. Понятно, что не обошлось без движения между людьми близкими, домашними к принцу и принцессе Брауншвейгским.

На другой день после взятия Пустошкина и Ханыкова с товарищами пришел донос на секретаря конторы принцессы Анны Михайлу Семенов в том, что он заподозревал указ императрицы Анны о регентстве, будто бы он не был подписан собственною ее рукою. Семенов на допросах указал уже на известного нам кабинет-секретаря Яковлева: тот признался, что действительно внушал Семенову сомнение насчет подлинности указа, признался, что не донес о разговоре своем с Пустошкиным и товарищами его, потому что «всегда имел усердие больше к стороне родителей его императорского величества, а правительство государственное желает, чтоб было в руках их же, родителей его императорского величества; Семенов внушал подозрение насчет указа для того, чтоб сообщено то было родителям его императорского величества, ибо он, Яковлев, чрез то уповал, в случае ежели бы государственное правительство чрез что ни есть перешло в руки их высочеств, дабы он, Яковлев, мог тогда избегнуть от следствия и беды и получить от их высочеств милость, ибо как по кончине ее императорского величества для проводывания, что о нынешнем правлении в народе говорят, надевая худой кафтан, хаживал он собою по ночам по прешпективной (Невскому проспекту) и по другим улицам, то слышал он, что в народе говорят о том с неудовольствием, а желают, чтоб государственное правительство было в руках у родителей его императорского величества».

Легко понять, с каким чувством Бирон должен был узнать, что в гвардии движение против него, что в народе его не хотят иметь регентом, а хотят родителей императора. Принц и принцесса Брауншвейгские – заклятые его враги с тех пор, как Анна Леопольдовна отказалась выйти замуж за его сына; эти принц и принцесса пользуются расположением в войске и народе, для них хотят отнять у него регентство. Мы видели, что Бирон во время своего фавора привык раздражаться, выходить из себя при первом сопротивлении и не разбирать средств, чтоб отделаться от человека, осмелившегося стать к нему во враждебные отношения. Но теперь дело шло не о каком-нибудь беспокойном человеке, решившемся высказаться против фаворита, теперь дело шло не о каком-нибудь Волынском, теперь дело шло о могущественных соперниках, которые опираются на свои права, признаваемые войском и народом, и которые поэтому легко могут отнять у него власть, и больше чем власть; теперь Бирон действует уже по инстинкту самосохранения, а известно, как люди действуют, когда руководятся инстинктом самосохранения, особенно такие люди, как Бирон. Регент едет к герцогу Брауншвейгскому и начинает кричать на него, что он затевает смуту, кровопролитие, надеется на свой Семеновский полк, но его, Бирона, не испугает. Люди, которые кого-нибудь боятся, обыкновенно говорят этому кому-нибудь, что не боятся, что их нельзя испугать. Бирон повторил эту сцену с принцем и его женою, когда они приехали к нему: тут, когда принц без намерения положил руку на ефес своей шпаги, то Бирон принял это движение за угрозу и, ударяя рукою по своей шпаге, сказал: «Я готов и этим путем с вами разделаться, если вы этого желаете».

Бирон не довольствовался вскрытием движений Ханыкова, Аргамачева, Пустошкина, Семенова: ему хотелось узнать что-нибудь подробнее о движениях самого принца и принцессы Брауншвейгских. С этою целью он велел арестовать адъютанта принца Петра Граматина и подвергнуть допросу. Граматин показал, что когда во время предсмертной болезни императрицы Анны принцу Антону дали знать о подписке какой-то бумаги в Кабинете, то он говорил Граматину: «Чинится подписка в Кабинете: подписываются генералитет и гвардии офицеры, только о чем, неведомо, а меня не пригласили. Знать, они подписывают то, что мне ведать не следует, и, конечно, что-нибудь о наследстве престола подписывают. Сказывал мне прусский посланник Мардефельд, будто до возраста великого князя будет учинен для правления Тайный верховный совет и в том Совете будут заседать супруга моя, герцог курляндский, три кабинет-министра, фельдмаршал Миних, генерал Ушаков и кн. Куракин, а про меня ничего не упомянул, только я его речам не верю». Граматин сказал на это, что может быть и так, только лучше бы, чтоб правление государственное было поручено одной персоне, потому что наши министры между собою будут не согласны и чрез то государству не будет пользы. Принц пору-

чил Граматину разведывать всячески о подписке. На другой день принц спросил Граматина, разведал ли он что-нибудь, и тот отвечал, что ничего не узнал; тогда принц сказал, что слышал о назначении регентом герцога Курляндского. После этого разговора Граматин вышел в другую комнату и нашел там секретаря Семенова, подле которого сел и спросил: «Что ты делаешь?» Тот отвечал: «Ох, что нам, братец, делать: худо у нас делается». «А что, разве ты слышал что-нибудь?» – спросил Граматин. «Да, мы нынче остаемся овцы без пастыря; знаешь ли ты, для чего подписка в Кабинете чинится? Доложи ты его светлости герцогу Брауншвейгскому, чтоб я был к нему допущен; я обо всем скажу; пусть его светлость на меня изволят положить эту комиссию; я сделаю, что дело может быть и переделано, только чтоб вперед я был защищен его светлости милостию». Граматин пересказал все принцу; тому и хотелось войти в сношения с Семеновым, и трусил: «А что если он попадется и объявит, что у меня был? Верно, у него есть какой-нибудь приятель у Андрея Ивановича Остермана, через него он это разведал». В таком трудном и опасном деле надобно с кем-нибудь посоветоваться, и принц посылает Граматина к брауншвейгскому посланнику Кейзерлингу спросить, как он думает, допускать ли к себе секретаря Семенова. Кейзерлинг присоветовал допустить Семенова, выслушать, обнадежив своею милостию и секретом. Но Семенов обещал переделать дело; можно ли на него в этом положиться? Граматин не верил, чтоб такой маленький человек мог сделать что-нибудь важное, и представил Кейзерлингу, что опасно положиться на Семенова относительно комиссии переделать то, что было подписано в Кабинете: «Когда ему поручится, а он не сделает и объявится, то после будет не без стыда». Кейзерлинг согласился, и принц только виделся с Семеновым, а никакой комиссии на него не возлагал.

19 октября принц завел с Граматиным разговор, что носят слухи, будто императрица Анна завещание своеручно не подписала, подписано оно не ее рукою; императрица с начала своей болезни ни о каких государственных делах не говорила, тем менее о наследстве, все надеялась выздороветь. При этом принц сказал: «Надеюсь, что все бывшие нынче у регента министры могли заметить, с каким неудовольствием я был у него. Я намерен был нынче послать к Андрею Ивановичу Остерману за советом, чтоб завтра, когда при Летнем дворце соберутся на караул люди более тысячи человек, чтоб всех министров, которые будут в Кабинете, арестовать; только я этого уже не сделаю». Саксонскому посланнику Линару сам принц только рассказывал, что он спрашивал совета у Остермана и тот сказал: если принц имеет верную партию, то должен открыться и говорить; в противном случае лучше будет согласоваться с другими. Граматин также отвечал принцу, что решительные действия опасны: «Вашей светлости собою сказать, что недовольны, не так прилично; разве когда государыня-принцесса изволят сказать, что недовольна, то и вашей светлости тогда о себе объявить пристойнее, а наперед надобно посоветоваться о том с министрами». Принц сказал на это: «Хотя я вижу, что супруга моя недовольна, однако она очень боится. Надеюсь, что о моем неудовольствии можно мне объявить Андрею Ивановичу Ушакову». Граматин отвечал, что можно, и тогда принц поручил ему переговорить об этом с адъютантом Ушакова Власьевым. Граматин увидел Власьева во дворце, в большой аудиенц-зале, и начал с ним разговор: «Что ты скажешь? Здорово живешь? Что у вас делается?» Власьев отвечал: «А что у нас делается? Ведь ты и сам знаешь, что у нас регент сделан. Что государыня принцесса и его светлость изволят об этом говорить?» «Сколько мне известно, – сказал Граматин, – они не очень довольны; только принц не знает, кому свое неудовольствие открыть из министров». «Да на что лучше нашего старика, – отвечал Власьев, – пусть ее высочество призвать изволят и о том объявить; он даст совет, как поступить». Когда Граматин передал эти слова принцу, тот велел ему сказать Власьеву, чтоб передал своему генералу Ушакову желание принца повидаться с ним, только, чтоб пришел по какому-нибудь делу и дал бы знать, когда придет. Граматин переговорил с Власьевым, Власьев с Ушаковым, и тот обещал побывать у принца.

Между тем Кейзерлинг сдерживал рьяность придворных принца и принцессы Брауншвейгских. 19 октября Кейзерлинг был у принца и потом имел разговор с камер-юнкером Шелианом, который после этого разговора со слезами говорил Граматину: «Что нам делать, что посланника Кейзерлинга не можем уговорить, чтоб он присоветовал принцу спорить! Все говорит: молчите, молчите! А его светлости никакой опасности, чтоб молчать, нет; Кейзерлинг говорит, что когда принц станет спорить, то его могут арестовать; но кто может арестовать его светлость?» Граматин сказал ему: «Как его светлости начать спорить, когда государыня принцесса о том ничего говорить не изволит?» Шелиан отвечал: «Мы до того времени будем молчать, пока они с нами что хотят, то сделают». Граматин был у Кейзерлинга, когда тот получил известие, что принцу Брауншвейгскому дан титул высочества. Кейзерлинг сказал при этом: «Пусть они нас теперь повышают: я бы желал, чтоб они его светлость сделали генералиссимусом, а там мы их достанем». Тот же Кейзерлинг спрашивал Граматина: «Как ты думаешь, утвердится ли нынешнее определение о регентстве?» И когда Граматин отвечал, что, по его мнению, утвердится, то Кейзерлинг сказал: «Может быть, министры между собою впредь не будут согласны и чрез то последует какая-нибудь отменка. При вступлении императрицы Анны на престол сперва было сделано так и потом переделано в самодержавство». Граматин в заключение доносил, что принц Антон в последний разговор с ним сказал: «Видно, на то, что такое определение о регентстве сделано, есть воля божия, и я уже себя успокоил. Мы лучше хотим с супругою моею терпеть, нежели чрез нас государство беспокоить».

Принц Антон, по словам Граматина, успокоился; но Бирон не мог успокоиться. Принц Антон был недоволен, ему очень хотелось переменить постановление о регентстве, но недоставало смелости, уменья воспользоваться какою-нибудь благоприятною минутою; люди, к которым он обращался за советом – Остерман, Кейзерлинг, – сдерживали его, но не порицали его поведения, его желания, советовали только ждать удобного времени, составления многочисленной партии. А партия эта не могла составиться легко и скоро, волнение было сильное в гвардии; кроме названных лиц попался еще князь Иван Путятин, который рассуждал с своими товарищами, офицерами Семеновского полка, что государством следовало править принцу Брауншвейгскому; Путятин ходил во дворец, поручил там Шелиану передать принцу, что если его высочеству угодно, то некоторые из сенаторов его сторону держать будут; приезжал к капитану того же Семеновского полка Василью Чичерину с известием, что Аргамаков взят, и Чичерин отвечал: «И нам не миновать». Путятин сказал при этом: «Вот кабы полк был в строю, то бы, написав челобитную, и подали, чтоб государыня-принцесса приняла государственное правление».

Напуганный и раздраженный этими открытиями, Бирон стал выживать Брауншвейгских из России; не только другим лицам, но и самому принцу и принцессе Анне говорил, что хочет вызвать в Россию молодого принца голштинского Петра. Чтоб отнять популярность у Брауншвейгских, Бирон говорил, что принцесса Анна называет русских канальями, а муж ее хотел генералов и министров арестовать и побросать в воду.

23 октября дан был указ о ежегодной выдаче родителям императора по 200000 руб. в год, а цесаревне Елисавете по 50000 руб., но в тот же день принц Антон был призван в чрезвычайное собрание кабинет-министров, сенаторов и генералитета. Бирон изложил собранию все дело на основании показаний, сделанных приверженцами Брауншвейгской фамилии в Тайной канцелярии, и спросил принца, чего ему хотелось. Тот со слезами отвечал, что хотел произвести бунт и завладеть регентством. Тут Ушаков начал говорить: «Если вы будете вести себя как следует, то все будут почитать вас отцом императора; в противном случае будут считать вас подданным вашего и нашего государя. По своей молодости и неопытности вы были обмануты; но если б вам удалось исполнить свое намерение, нарушить спокойствие империи, то я, хотя с крайним прискорбием, обошелся бы с вами так же строго, как и с последним подданным его величества». После этой грозной выходки управляющего Тайною канцеляриею начал говорить

Бирон; говорил о своих правах, о действительности распоряжения покойной императрицы и кончил словами: «Так как я имею право отказаться от регентства, то, если это собрание сочтет вашу светлость больше меня к нему способным, я сию же минуту передам правление вам». Тут многие из присутствующих объявили, что просят герцога продолжать правление для блага всей земли. Тогда Бирон, указывая на лежавшее перед ним распоряжение покойной императрицы о регентстве, спросил Остермана: «Та ли эта бумага, которую вы сами относили к императрице для подписи?» Остерман отвечал утвердительно; но регент не удовольствовался этим ответом: он потребовал, чтоб все присутствующие подписали бумагу и приложили свои печати; все исполнили требование, равно как и принц Антон.

Бирон и на этом не успокоился: он боялся, что принц будет иметь возможность действовать на войско по своим военным чинам – подполковника Семеновского полка и полковника кирасирского Брауншвейгского полка; регенту непременно хотелось отнять у него эти должности; Миних, который не любил принца, охотно подслужился Бирону и велел брату своему от имени принца Антона написать просьбу об увольнении от всех военных должностей. Фельдмаршал Миних принес эту просьбу в Кабинет, причем просил, что если отошлют ее к Остерману, то чтоб переписали, ибо он не хочет, чтоб Остерман видел руку брата его и догадался, что все дело идет через него, фельдмаршала. В просьбе от имени принца Антона говорилось к имени императора: «Я ныне, по вступлении вашего императорского величества на всероссийский престол, желание имею мои военные чины низложить, дабы при вашем императорском величестве всегда неотлучным быть». Принц Антон подписал просьбу, в которой он является таким нежным отцом, и 1 ноября дан был указ Военной коллегии, подписанный по обычаю: «Именем его императорского величества Иоганн регент и герцог». В указе говорилось: «Понеже его высочество любезнейший наш родитель желание свое объявил имевшиеся у него военные чины низложить, а мы ему в том отказать не могли, того ради чрез сие Военной коллегии объявили для известия».

Бестужев говорил одному иностранному дипломату: «Если бы захотели, могли бы поступить с принцем вовсе не так милосердно. Он отец императора, но вместе с тем и его подданный. Петр I подал пример, что вправе сделать отец против бунтующего сына, то же наоборот и совершенно логично прилагается и к настоящему случаю; принцесса Анна это очень хорошо понимает; она бросилась на шею к герцогу Курляндскому с просьбою не давать гласности делу и обещала сама смотреть за мужем. До сих пор герцог Брауншвейгский рассчитывал на венский двор; но теперь он увидит, что эта опора бесполезна, потому что мы не только совершенно отстранили партию, преданную ему или его жене, но мы можем вообще сказать, что наше дело выиграно. Я рисковал головою и не имел ни минуты покоя в первые три дня после кончины императрицы, потому что я русский народ знаю: по первому толчку он в состоянии что-нибудь предпринять, но потом, как скоро эта минута пройдет, переходит к совершенному послушанию. Вот почему еще при жизни императрицы я изготавил манифест о регентстве, его напечатали в ночь по смерти императрицы вместе с присяжною формою, и сейчас же можно было приводить к присяге, прежде чем беспокойные головы имели время что-нибудь затеять. Если посудить, как велико само по себе это событие и как значительно народонаселение столицы, то нечего удивляться, что нашлось несколько недовольных; надобно удивляться одному, что не оказалось их более. Теперь для общего единения остается делать одно: награждать благонамеренных и строго наказывать тех, в которых будет замечено дурное направление».

Людей неблагонамеренных, действовавших против Бирона, в пользу принца Антона или принцессы Анны, Яковлева, Пустошкина с товарищами, били кнутом в Тайной канцелярии, давали по 15, 16 и 17 ударов. Но явились доносы на приверженцев цесаревны Елисаветы Петровны. Во время присяги войска Иоанну Антоновичу как наследнику престола капрал Хлопов, встретившись с капралом Гольмштремом, сказал ему: «Присягали мы ныне ее императорского величества внуку, а государыни-принцессы сыну»; а потом, немного погодя, махнул

головою на дом цесаревны Елисаветы и сказал: «Не обидно ль?» В тот же день Хлопов говорил своим товарищам русским: «Вот император Петр Первый в Российской империи заслужил и того осталось. Вот коронованного отца дочь, государыня-цесаревна, оставлена». Немец Гольмштрем донес на Хлопова; Хлопова взяли и отпустили, равно как и товарищей его, русских, виноватых в том, что не донесли; отпустили «для многолетнего его величества здоровья, но только впредь в такие противные рассуждения отнюдь бы они не вступали». Привели в Тайную канцелярию счетчика из матросов Максима Толстова за то, что отказался присягать регенту. Толстой прямо объявил, что не пошел к присяге «для того, что государством повелено править такому генералу, каковы у него, Толстова, родственники генералы были. До возраста государева повелено править герцогу курляндскому, а орел летал да соблюдал все детям своим, а дочь его оставлена: император Петр Первый соблюдал и созидал все детям своим, а у него, государя, осталась дочь цесаревна Елисавета Петровна, и надобно ныне присягать ей, государыне цесаревне. О том между собою говорили лейб-гвардии Преображенского полка солдаты, идучи от присяги». Толстова сослали в Оренбург – наказание легкое, если принять во внимание то, что он презрительно отзывался о Бироне, не хотел присягать ему. Могло казаться удивительным такое снисхождение к приверженцам цесаревны Елисаветы. Мы видели, что уже и прежде ходили слухи о видах Бирона на цесаревну. Теперь сам Бирон грозит, что против Брауншвейгцев вызовет в Россию племянника цесаревны Елисаветы, принца Голштинского, и пошли новые слухи, что Бирон хочет женить на Елисавете сына своего, принца Петра, а дочь свою потом выдать за герцога Голштинского. Как бы то ни было, говорили, что Бирон имел с цесаревною Елисаветою частые свидания, продолжавшиеся иногда по целым часам.

Бестужев думал или по крайней мере хотел заставить других думать, что опасность для Бирона прошла, потому что первая вспышка недовольствия была потушена в самом начале. Вспышка была потушена, потому что недовольные не нашли себе вождей; но недовольных оставалось очень много, недовольно было все общество, весь народ. Не доверяя гвардии, призывали шесть армейских батальонов и 200 драгун. Чтоб гвардия не обиделась этою недоверчивостью, Миних произнес к ней речь, в которой говорил, что гвардейцы служат только высочайшим особам и что регент решил призвать на службу в Петербург армейских солдат, желая облегчить по службе гвардейцев. Но говорили, что речь не произвела ожидаемого действия. Драгуны сослужили службу: 24 октября ночью народ начал было собираться толпами в некоторых местах, но был разогнан драгунскими патрулями. Бирон поговаривал, что надобно преобразовать гвардию, зачем в ней рядовые солдаты из дворян: их можно определить офицерами в армейские полки, а их место занять людьми простого происхождения.

Даже и те, которые отказались быть вождями движения и выдали людей, неспособных дожидаться, и те не принадлежали к числу довольных, имевших сильные побуждения поддерживать регента, и когда Бестужев говорил «мы», то под этим «мы» должно было разуметь очень немногих – его да самого Бирона с братьями и Бисмарком. Это очень хорошо понимал человек, сильно недовольный тем, что не он занимает первое место, а Бирон, которого он считал ничтожностью в сравнении с собою, – это очень хорошо понимал Миних. Современники и люди близкие к Миниху объясняли его усердие в доставлении регентства Бирону тем, что он надеялся играть при таком неспособном регенте главную роль, надеялся получить звание генералиссимуса всех военных сил империи, сухопутных и морских. Но мы видели, что Бирон и прежде боялся Миниха и старался оттеснить его от источника власти как соперника, опасного по своей смелости, энергии, талантам и страшному честолюбию; понятно, что и теперь в Бироне-регенте не могла исчезнуть эта боязнь и он нисколько не был расположен увеличивать значение опасного человека; Миних был в ссоре с генералом Бироном, и регент брал сторону брата. Миних видел, что ошибся в своих расчетах, видел всеобщее сильное недовольствие, видел, что недовольным недостает только вождя для низвержения ненавистного регента,

и решился быть этим вождем. В свое имя он, разумеется, действовать не мог; всего ближе ему было действовать во имя принцессы Анны, матери императора.

Прежде он мог не желать регентства Анны вследствие неладов с принцем Антоном, находившимся под влиянием Остермана; прежде он мог предпочитать регентство Бирона; но теперь другое дело: принцесса и ее муж в невыносимо тяжком положении, ждут избавителя, и, разумеется, их благодарности к этому избавителю не будет границ.

7 ноября, как шеф кадетского корпуса, Миних представил Анне Леопольдовне несколько кадет, из которых она хотела выбрать для себя пажей. Когда кадеты были отпущены, принцесса со слезами на глазах стала говорить Миниху: «Вы видите, граф, как регент со мною обходится; я знаю от верных людей, что он думает выслать нас из России. Я готова к этому, я уеду; но употребите все свое влияние над регентом, чтобы по крайней мере мне можно было взять с собою сына». В ответ Миних дает слово освободить ее от тирана, и принцесса говорит, что полагается на него одного. Свое участие в избрании Бирона Миних оправдывал тем, что если б Бирон не был сделан регентом, то никогда не побудил бы императрицу назначить себе преемника, отчего Россия была бы ввергнута в ужасное положение. На другой день утром Миних видится с принцессою опять и объявляет, что намерен схватить регента. Сначала принцесса поцеремонилась, начала говорить, как это фельдмаршал рискует жизнью своею и всего своего семейства; предлагала посоветоваться с Левенвольдом; но Миних отвечал, что она обещала положиться на него одного, и притом он не хочет никого вовлекать в опасность. Тогда принцесса начала хвалить великодушие и смелость фельдмаршала и сказала: «Ну хорошо, только делайте поскорее». Медленность не была в характере Миниха, да и не было выгоды медлить: притом Преображенский полк, в котором он был подполковником, должен был смениться на другой по караулам.

В тот же день, 8 ноября, Миних обедал у Бирона, который пригласил его приехать и вечером. Герцог был весь этот вечер беспокоен и задумчив. Вместе с Минихом сидел у него Левенвольд, который вдруг спросил фельдмаршала: «А что, граф, во время ваших походов вы никогда не предпринимали ничего важного ночью?» Миних сначала смутился этим вопросом, в котором как будто намекалось на его намерение, скоро, впрочем, оправился и отвечал: «Не помню, чтоб я когда-нибудь предпринимал что-нибудь чрезвычайное ночью, но мое правило пользоваться всяким благоприятным случаем».

Регент и фельдмаршал расстались в одиннадцать часов вечера, и Миних немедленно стал распоряжаться «чрезвычайным ночным предприятием». Возвратясь из дворца, он сказал своему первому адъютанту подполковнику Манштейну, чтоб был готов, потому что понадобится ему очень рано. Действительно, в два часа пополудни фельдмаршал позвал к себе Манштейна; оба сели в карету и отправились в Зимний дворец, где жил император с отцом и матерью. Фельдмаршал и адъютант вошли в покои принцессы Анны через гардероб и велели разбудить фрейлину Менгден, фаворитку принцессы; Менгден, услышав от Миниха, в чем дело, велела разбудить принца и принцессу, но вышла к фельдмаршалу одна принцесса. Поговоривши с нею минуту, Миних велел Манштейну позвать к принцессе всех караульных офицеров, и, когда те вошли, принцесса обратилась к ним с жалобами на регента: «Мне нельзя, мне стыдно долее сносить все эти обиды, я решилась его арестовать и поручила это дело фельдмаршалу Миниху; надеюсь, что храбрые офицеры будут повиноваться своему генералу и помогать его ревности». Офицеры обещали исполнить волю принцессы, которая допустила их к руке и потом всех перечекала. Сошедши с фельдмаршалом вниз, офицеры поставили под ружье караульных солдат, которым Миних объявил в чем дело; мы знаем, что солдаты только этого и дожидались; они крикнули в один голос, что рады идти всюду, куда он их поведет. Сорок человек солдат было оставлено при знамени, а с осмидесятью Миних отправился к Летнему дворцу, где жил регент.

Около двухсот шагов от дворца отряд остановился: Миних послал Манштейна к караульным офицерам объявить им о намерении принцессы Анны; те с радостью выслушали это объ-

явление и предложили даже свою помощь при арестовании герцога. Тогда фельдмаршал велел Манштейну взять офицера и двадцать солдат, войти во дворец, арестовать герцога и в случае сопротивления убить его. Манштейн, войдя во дворец, велел солдатам следовать за собою издали, чтоб не делать шума. Все караульные пропустили его беспрепятственно, думая, что старший адъютант фельдмаршала прислан к герцогу за каким-нибудь важным делом. Пройдя несколько комнат, Манштейн вдруг нашелся в большом затруднении: он не знал, где спальня герцога, и в то же время не хотел спросить об этом у лакеев, чтоб не поднять шума. Подумав с минуту, он решился идти вперед в надежде отыскать наконец спальню. Пройдя еще две комнаты, он очутился перед дверьми, запертыми на ключ; он попробовал, и двери отворились, потому что не были приперты задвижками внизу и вверх. Войдя в комнату, он увидел большую кровать, на которой герцог и герцогиня спали глубоким сном; они проснулись тогда только, когда Манштейн откинул занавесы у кровати и начал говорить. Муж и жена разом вскочили оба и начали кричать «караул!». Манштейн отвечал, что привел много караульных. Так как Манштейн стоял по ту сторону кровати, где была герцогиня, то Бирон соскочил на пол с намерением, как показалось Манштейну, спрятаться под кровать. Тогда Манштейн бежал кровать, бросился на Бирона, схватил его и крепко держал до тех пор, пока пришли солдаты. Когда они подошли к Бирону, чтоб взять его, тот стал обороняться, отмахиваясь кулаком направо и налево. В этой борьбе солдаты разорвали у него рубашку и сильно поколотили его, повалили на землю, засунули носовой платок в рот, связали руки офицерским шарфом, закутали в одеяло и вынесли в караульную; здесь набросили на него солдатскую шинель, посадили в карету Миниха, куда сел с ним офицер и повез в Зимний дворец. В то время как солдаты управлялись с Бироном, жена его выбежала в одной рубашке из дворца и, видя, как увозят мужа, бросилась за ворота на улицу; тут один солдат схватил ее, притащил к Манштейну и спрашивал, что с нею делать. Тот велел отвести ее во дворец, но солдату не хотелось с нею возиться: он бросил ее на кучу снега и ушел; капитан гвардии нашел ее в этом положении, поднял, велел одеть и проводил во дворец. Тот же Манштейн арестовал Густава Бирона, а другой адъютант Миниха, капитан Кёнигфельс, арестовал Бестужева, который подумал, что Бирон велел арестовать его, и спросил у Кёнигфельса: «Что за причина немилости регента?»

К шести часам утра все было кончено, и Миних явился к принцессе Анне с докладом, что все обошлось благополучно. Первым делом принцессы было послать за человеком, без которого считали невозможным решить какое-нибудь важное дело, – за Остерманом. Оракул, недвольный положением дел и чуя бурю в воздухе, несколько времени уже сказывался больным; и теперь, когда так рано прислали за ним от имени принцессы, велел отвечать, что нездоров; тогда Миних послал к нему генерала Стрешнева, родственника Остерману по жене, сказать, что есть обстоятельство, которое должно заставить его перемочь болезнь и приехать во дворец; это обстоятельство заключалось в том, что Стрешнев собственными глазами видел бывшего регента в караульне Зимнего дворца. Остерман перемог болезнь и явился поклониться восходящему светилу. А между тем все так привыкли верить в могущество Остермана, в его умение таинственными путями устраивать перевороты, что сначала приписали ему низвержение Бирона. Шетарди, донося своему королю о перевороте, писал: «Болезнь графа Остермана сильно, если не ошибаюсь, способствовала к лучшему сокрытию тайных мер, которые он принимал, показывая вид, что ни с кем не имеет сообщения. Так он поступал всегда; верный и смелый прием, которым нанесен удар, может быть только плодом и следствием политики и опытности графа Остермана». Румянцев, получивши в Константинополе известие о свержении Бирона, писал Остерману: «Что касается до той с богом начатой перемены, не только я здесь, но и все в свите моей сердечное порадование возымели и, яко едиными усты, богу моление принесли с прославлением имени вашего сиятельства, яко первого сына отечества Российской империи, ведая, что все то мудрыми вашего сиятельства поступками учинено».

В Константинополе могли долго так думать; но в Петербурге скоро узнали, что единственным виновником переворота был не Остерман, а Миних. Возвратившись по совершении своего подвига домой, фельдмаршал призвал к себе сына своего и родственника барона Менгдена, председателя Коммерц-коллегии, и велел сыну писать список наград. Во-первых, принцесса Анна, которая должна быть провозглашена правительницею вместо Бирона, возлагает на себя Андреевский орден, а Миниха жалует в генералиссимусы. Сын заметил, что, может быть, этого звания желает муж правительницы, принц Антон, надобно бы об этом разведать; сын советовал просить лучше звания первого министра. Отец согласился, но потом задал вопрос, как Остерман будет терпеть над собою первого министра. Ему отвечали, что надобно повысить Остермана; но как? Фельдмаршал наконец припомнил, что в 1732 году, работая над новым положением для флота, Остерман намекал, что желал бы быть великим адмиралом. Решили пожаловать Остермана в великие адмиралы – звание почетное, но не опасное, не стесняющее первого министра. Казалось бы, всего естественнее было дать Остерману, как вице-канцлеру, звание великого канцлера, которого никто не имел с 1734 года, со смерти старого Головкина; но иностранными делами хотел заправлять Миних, и великим канцлером назначили не *душу*, а *тело* Кабинета – князя Алексея Михайловича Черкасского, хотя и было замечено, что Черкасский за свое поведение относительно Бирона заслуживает больше наказания, чем награды; вице-канцлером сделали графа Михайлу Головкина, человека близкого к новой правительнице и неопасного. Миних велел сыну написать бумагу о всех этих назначениях и отвезти во дворец для поднесения принцессе на утверждение, а чрез несколько часов приехал сам во дворец и узнал, что принцесса на все согласна. По приезде Миниха, Остермана и цесаревны Елисаветы началось во дворце долгое совещание, вследствие которого Бирон с семейством был перевезен в Александро-Невский монастырь; здесь они переночевали, а утром отправлены были в Шлюсбург. Мы видели, что вместе с Бироном был схвачен и самый ревностный приверженец его, кабинет-министр Бестужев-Рюмин. Судьба, видимо, преследовала этого человека, видимо, смеялась над ним жестокою насмешкою. После стольких усилий, хлопот пробился он наконец вперед, для того чтоб, заплативши за кратковременную честь страшным беспокойством, бессонными ночами, попасть из кабинет-министров под арест и ожидать самого печального решения своей участи. В самом начале блеснул было луч надежды: адъютант Миниха Кёнигфельс два раза приезжал к жене Бестужева и спрашивал ее, хочет ли она ехать с мужем на место ссылки. Та отвечала, что хочет; Кёнигфельс утешал ее, говорил, что фельдмаршал бьет себя в грудь и божится, что будет истинным другом ее мужу. К самому Бестужеву Миних прислал другого адъютанта своего, Манштейна, объявить, что принцесса Анна приказала послать его в ссылку недалеко; Бестужев просил, нельзя ли ему видаться с фельдмаршалом, но Манштейн возвратился с ответом: «Видеться тебе с фельдмаршалом невозможно, ему недосуг, посылают вас в Кексгольм, и будете вы там, пока с другими разделяются, а потом и с тобою скоро перемена будет». «Попросите фельдмаршала, – говорил Бестужев Манштейну, – чтоб он меня не оставил, а помнил то, что он состоит в дирекции божией, как сам видит из моей судьбы: вчера я был кабинетным министром, а теперь арестант». Бестужева сначала заключили в Нарвскую крепость, а потом перевели в Копорье. Двоих братьев Бирона, Карла и Густава, и генерала Бисмарка как *адгерента* бывшего правителя отправили в Сибирь.

На другой день, 9 ноября, Анна Леопольдовна провозгласила себя правительницею, и никто не противоречил. Вышел манифест, подписанный Синодом, министерством и генералитетом: император Иоанн III объявлял, что хотя по предписанию императрицы Анны регентом был назначен герцог Курляндский, но ему велено было свое регентство вести по государственным правам, конституциям и прежним преданиям и уставам и особливо велено «не токмо о дражайшем здравии и воспитании нашем попечение иметь, но и к родителям нашим и ко всей императорской фамилии почтение оказывать. Но вместо должного тому исполнения он дерзнул не токмо многие противные государственным правам поступки чинить, но и к любез-

нейшим нашим родителям великое непочитание и презрение публично оказывать, и притом с употреблением непристойных угроз, и такие дальновидные и опасные намерения объявить дерзнул, которым не только любезнейшие родители наши, но и мы сами, и покой, и благополучие империи нашей в опасное состояние приведены быть могли бы. И потому принуждены себя нашли по усердному желанию и прошению всех наших верных подданных духовного и мирского чина оного герцога от регентства отрешить и по тому же прошению всех наших верных подданных оное правительство поручить нашей государыне-матери».

11 ноября вышел указ: «Ноября 10 дня всемилостивейше пожаловали мы: 1) любезнейшему нашему государю-родителю быть генералиссимусом, и хотя генерал-фельдмаршал граф фон Миних за его к Российской империи оказанные знатные службы и что ныне он уже первый в Российской империи командующий генерал-фельдмаршал и в коллегии Военной президент к пожалованию б сего знатного чина надежду иметь мог, токмо во всеижайшем к вышеупомянутому его высочеству почтении от сего высочайшего чина отрекается; притом же его высочество чин конной гвардии подполковника на себя принять изволит; 2) генерал-фельдмаршалу графу фон Миниху по вышеописанным обстоятельствам и особливо в рассуждении при нынешнем случае нам, родителям нашим и всему государству оказанной усердной ревности, при которой он, оставляя свое и своей фамилии благополучие и не щадя пота и крови, поступал, дабы он по то время, пока ему бог живот и силу продолжит, в состоянии был нам ревностные услуги оказать, всемилостивейше пожаловали чин первого министра в наших консилиях; и как он ныне уже первый ранг в империи имеет, то ему по генералиссимусе первым в империи быть, причем и супруге его пред всеми знатнейшими дамами, в том числе и тех принцев, кои невладающие в нашей службе обретаются, супругами первенство иметь; 3) вице-канцлеру империи графу Остерману пожаловали чин давно состоящей вакансии генерал-адмирала, причем ему и кабинет-министром быть по-прежнему; 4) действительному тайному советнику князю Черкасскому пожаловали чин также давно состоящей вакансии великого канцлера, и быть ему по-прежнему в Кабинете; 5) действительному тайному советнику графу Головкину пожаловали чин вице-канцлера и кабинет-министра». Левенвольду дана «знатная сумма» на расплату долгов. Фельдмаршал князь Трубецкой освобожден от взыскания 10000 рублей и получил пенсию. Генерал-кригскомиссар Лопухин освобожден от взыскания 12000 рублей. Ушаков, Головин и Куракин получили Андреевский орден.

Все были довольны; но при этой, по-видимому, всеобщей радости нашлись люди, которые предсказывали, что это не последний переворот.

Бирона захватил фельдмаршал Миних; Миних не мог провозгласить себя регентом и отдал свою ночную добычу матери императора, с тем чтоб под именем первого министра управлять Россиею. Характер новой правительницы действительно мог утверждать Миниха в его надеждах, ибо не было существа менее способного находиться во главе государственного управления, как добрая Анна Леопольдовна. Сильно доставалось ей в молодости от матери, герцогини Екатерины Ивановны, за дикость; императрица Анна имела полное основание считать племянницу неспособною к правлению. Не одеваясь, не причесываясь, повязав голову платком, сидеть бы ей только целый день во внутренних покоях с неразлучною фавориткою, фрейлиною Менгден! Фрейлина была очень довольна, что «мы попали в правительство». Как только схватили страшного, ненавистного герцога Курляндского, так правительница подарила своей фаворитке четыре кафтана Бирона да три кафтана сына его, Петра; Менгден занялась спарыванием с них позументов и отдала на выжигу; вышло из выжиги четыре шандала, шесть тарелок, две коробки. Но щедрость правительницы не ограничилась позументами: пошли подарки по 1000, по 2000, по 3000, иногда по десяти и по тридцати тысяч; дана была и мыза Обер-Пален в Дерптском уезде.

С Анною Леопольдовной и с фавориткою Миниху легко было ужиться, тем более что Менгден была его родственница. Ни один из русских вельмож, стоявших наверху, не мог быть

ему опасен; но был человек, который привык считать себя необходимым в управлении Российской империей и привык считать себя первым по способностям и опытности: то был оракул Остерман. Бирон не любил Остермана и подставлял ему соперников: то Волынского, то Бестужева-Рюмина, но Остерман продолжал сохранять свое положение. Теперь Бирон в крепости, Бестужев-Рюмин в крепости, но первым министром – Миних, который не будет доволен одним титулом, который во всех делах, и особенно внешних, будет давать чувствовать свое значение первого министра; и действительно, первым его делом было отстранение Остермана от департамента иностранных дел возведением его в звание генерал-адмирала. Наблюдательные иностранцы писали к своим дворам: «Остерман никогда не терпел совместника в главном управлении делами России, а теперь он на месте далеко не на первом и может быть в отчаянии, видя фельдмаршала первым министром. Должно думать, что Остерман в настоящее время считает себя обесчещенным на весь мир человеком, если не выйдет из этого положения посредством падения фельдмаршала». Иностранцы предполагали, что Остерман для свержения Миниха решится действовать и в пользу цесаревны Елисаветы. Но для этого Остерману не нужно было так далеко ходить; ему не трудно было свергнуть Миниха и посредством принцессы-правительницы, и ее мужа. Знаменитый фельдмаршал, покоритель Данцига, Очакова и Хотина, свергнувший регента, не имел ни в ком и ни в чем опоры, был бессильнее Бирона, ибо не был правителем, не имел в руках своих верховной власти, права всем распоряжаться, следовательно, не имел возможности распоряжаться в свою пользу, для своего утверждения и безопасности; правительница назначила его первым министром, правительница могла и лишить его этого звания, и никто не мог ей в том помешать, некому, было заступиться за фельдмаршала. Вся сила Миниха основывалась на расположении к нему Анны Леопольдовны; но какого рода было это расположение?

Это не была сильная привязанность к человеку, отсутствие которого производило бы около нее пустоту, без которого ей тяжело было обойтись; подавить привязанность к такому человеку очень трудно, для этого нужно по крайней мере очень много времени, ибо внушения, делаемые против такого человека, против его достоинства и верности, неприятно раздражают, с такими внушениями подходить опасно; но отношение Анны Леопольдовны к Миниху было совершенно другого рода: она не чувствовала к нему никакого особенного расположения, ей было скучно с ним, как со всяким другим, кроме Юлианы Менгден и еще кого-нибудь; единственное чувство, которое связывало ее с ним, – это было чувство благодарности за освобождение от Бирона; но благодарность – чувство тяжелое, если не поддерживается другими чувствами, если нужно беспрестанно говорить самому себе: «Я должен быть расположен к этому человеку, потому что он оказал мне услугу», тогда как внутреннего влечения к нему нет никакого. На таком-то непрочном основании утверждалось значение и могущество Миниха! Если бы и при этом Анне Леопольдовне постоянно внушали, что она должна держаться Миниха как человека верного и необходимого, то, конечно, она бы и держалась его и с течением времени привыкла к нему; но тут именно близкие люди употребляли все старания, чтоб уверить правительницу в неблагонамеренности и опасных замыслах фельдмаршала, знаменитого честолюбца, который не может быть доволен ничем: а можно ли сохранять благодарность к такому человеку, который все делает только для удовлетворения своему честолюбию и если вчера свергнул одного, то завтра свергнет так же легко другого, чтоб никто не стоял на его дороге? Миних даже опаснее Бирона, потому что даровитее и отважнее его. При таких внушениях без средств и охоты опровергать их медлить можно было только из чувства приличия, из страха, что скажут: человек оказал такую услугу, а ему отплатили неблагодарностью!

Если легко было подкопать хрупкое основание Минихова могущества, то Остерман, которому очень хотелось это сделать, не мог, да и не желал сделать это прямо, один. У него были хорошие помощники, и прежде всего принц Антон. Принц Антон, несмотря на свержение Бирона, был опять недоволен; Миних явно пренебрег им, ведя дело свержения Бирона с Анною

Леопольдовною, ее именем, ее провозгласил правительницею, тогда как другие хотели правителем его, принца Антона. Ему дали звание генералиссимуса, но и то не с полным значением: фельдмаршал Миних не хочет признавать своего подчинения генералиссимусу, пишет к нему не так, как подчиненные должны писать к начальникам. Даже в самом указе о назначении принца генералиссимусом Миних включил оскорбительные выражения: хотя фельдмаршал граф Миних за знаменитые услуги, оказанные им государству, имел право рассчитывать на место генералиссимуса, однако он отказывается от него в пользу герцога Антона Ульриха, отца императора, довольствуясь местом первого министра. Принц замечает, что о важных делах фельдмаршал ему не представляет, представляет только о ничтожных. В печальном положении принц прибегает к оракулу: Остерман вполне разделяет его негодование и даже, говорят, первый возбуждает неудовольствие принца.

С Остерманом заодно действует издавна неразрывный с ним обер-гофмаршал Левенвольд. Есть также из русских один, близкий к правительнице человек и родственник, граф Михаил Головкин, который недоволен вице-канцлерством с подчинением Миниху и мечтает управлять всеми внутренними делами.

На беду свою фельдмаршал захворал тотчас после своего торжества: пищеварение совершенно расстроилось, поднялось колотье в боку. Говорили, что причиною болезни было приказание правительницы уменьшить глубокий траур, какой надел Миних по императрице Анне и какой носил бывший регент; говорили, что Миних недолго останется на своем месте, что его никто не любит и какое счастье было бы для России, для Анны Леопольдовны, для него самого и для его семейства, если б он теперь умер. Болезнь Миниха облегчила врагам его возможность действовать, как некогда болезнь оказала ту же услугу врагам Меншикова. В конце декабря иностранные министры уже пишут к дворам своим: «Трое самых главных лиц работают против Миниха: Головкин, Остерман и Левенвольд». Генварь и февраль 1741 года прошли в тех же работах. Каждый вечер принц Антон сидел у Остермана, и тот настаивал, чтоб принц жаловался жене на недостойное обращение с ним фельдмаршала. В генваре 1741 года правительница нашла на своем туалете письмо, написанное как будто за границею; в нем говорилось, как опасно ей полагаться совершенно на одну фамилию, и притом иностранную, вследствие чего состояние природных подданных ее сына не улучшится, хотя и нет более Бирона. С другой стороны, принц приступил с жалобами, и Миних получил указ сноситься с генералиссимусом обо всех делах и писать к нему по установленной форме. Это был тяжелый удар Миниху. Но Остерман готовит и другие удары, и, чтоб сделать их подействительнее, он уже не полагается на других, действует сам. В царствование императрицы Анны он по целым годам не выходил из своей комнаты; а теперь больного очень часто носят к правительнице. Оракул внушает Анне Леопольдовне, что первый министр несведущ в делах иностранных, которыми он, Остерман, управлял в продолжение двадцати лет; что по своей неопытности Миних может вовлечь Россию в большие неприятности; что он, Остерман, был бы очень рад сообщать первому министру все нужные сведения, но болезненное состояние мешает ему ездить к фельдмаршалу. Остерман внушает также, что Миних одинаково несведущ и во внутренних делах империи, потому что всегда был занят только военными делами.

И эти внушения подействовали: 28 генваря 1741 года кабинет-министры получили именной указ: «Так как некоторые из вас кроме присутствия в Кабинете делами других департаментов заняты и не столько времени к беспрестанному в Кабинете присутствию имеют, то рассудилось нам, дабы входящие в наш Кабинет дела вдруг и безостановочно течение свое имели, рассматривать дела по департаментам: 1) первому министру, генерал-фельдмаршалу графу фон Миниху ведать все, что касается до всей нашей сухопутной полевой армии, всех иррегулярных войск, артиллерии, фортификации, Кадетского корпуса и Ладожского канала, рапортуя обо всем том герцогу Брауншвейг-Люнебургскому; 2) генерал-адмиралу графу Остерману ведать все то, что подлежит до иностранных дел и дворов, также Адмиралтейство и флот; 3)

великому канцлеру князю Черкасскому и вице-канцлеру графу Головкину ведать все то, что касается до внутренних дел по Сенату и Синоду, и о государственных по Камер-коллегии сборах и других доходах, о коммерции, о юстиции. Каждый кабинет-министр рассматривает входящие в его департамент дела, но подлежащие до кабинетского и нашего решения отсылает в подлежащие места с запискою, а по надлежащим до Кабинета мнение свое подписывает и, так ли тому быть, сообщает прочим министрам для соглашения; если же по какому-нибудь департаменту случится такое важное дело, которое требует неотменного общего рассуждения, о таком тотчас учинить общий совет». Принц Антон говорил английскому посланнику Финчу: «Я имел горячие споры с фельдмаршалом. Хотя я много одолжен им в походах, хотя он может быть мне полезен на своем настоящем месте и недавно оказал услугу, однако из того не следует, чтоб ему быть здесь верховным визирем. Если он будет так умерен, что согласится на настоящие распоряжения (указ 28 генваря), то нет намерения делать ему какой-нибудь вред; но если он станет слушаться только неумеренного своего честолюбия и природной жестокости своего нрава, то может своею глупостью навлечь на себя гибель». Миних согласился на разделение департаментов, но от этого положение его не улучшилось. При докладах первого министра правительница казалась затрудненною множеством предметов, отговаривалась неимением времени, призывала на помощь принца Антона. Миних решился прекратить такое невыносимое для него положение дел требованием отставки, причем, как обыкновенно бывает в подобных случаях, надеялся, что испугаются, станут упрашивать и примут все его условия. Сначала правительница действительно была смущена этим требованием и отвечала, что не может обойтись без советов фельдмаршала; но фельдмаршал не довольствовался этим ответом и поставил условием продолжения своей службы, чтоб все было по-старому, как в первые два месяца правления Анны. Об этом надобно было подумать: принц Антон приезжает к графу Головкину с заднего крыльца, сидит с ним целый час, после чего выходит задним же крыльцом и отправляется к Остерману, куда приезжает и граф Головкин. Втроем совещаются они три часа, и вследствие этого совещания на обер-гофмаршала Левенвольда и на сына Миниха возлагается поручение объявить фельдмаршалу, что он получает столь желаемую им отставку. Принцесса Анна так объяснила причины этого решения: «Фельдмаршал неисправим в своем доброжелательстве к Пруссии, хотя я много раз объявляла ему свою решительную волю помочь императрице Марии Терезии; также мало обратил он внимания на внушение, чтоб исполнял приказания моего мужа, как мои собственные; мало того, он поступает вопреки и собственным моим приказаниям, выдает свои приказы, которые противоречат моим. Долее иметь дело с таким человеком – значит рисковать всем».

3 марта 1741 года принцу Антону приносят бумагу: «Указ нашему генералиссимусу: всемилоостивейше указали мы нашего первого министра и генерал-фельдмаршала графа фон Миниха, что он сам нас просит за старостию и что в болезнях находится, и за долговременные нам, и предкам нашим, и государству нашему верные и знатные службы его от военных и статских дел уволить и нашему генералиссимусу учинить о том по сему нашему указу. Именем его императорского величества Анна» Принц Антон на радостях распорядился: на петербургских улицах раздался барабанный бой, и народу торжественно читался указ об отставке первого министра. Миних страшно оскорбился: мало того, что ему объявили отставку, не дождавшись от него письменного прошения, теперь объявили об этом народу при барабанном бое! Анна Леопольдовна, у которой и без того лежал на сердце поступок с человеком, спасшим ее от Бирона и сделавшим правительницей, которая по слабости только уступила настояниям принца Антона, Остермана и Головкина, – Анна Леопольдовна сильно была недовольна распоряжением супруга и послала сказать Миниху, что готова дать ему какое угодно удовлетворение за эту обиду. Миних отвечал, что вполне удовлетворен, получивши такие знаки милости от правительницы. Несмотря на то, Сенат должен был отправить к нему троих из своих членов с извинениями.

Говорили, что отставке Миниха много способствовали показания Бирона. Действительно, и Бирон, и Бестужев в ответах своих складывали на Миниха вину избрания Бирона в регенты; кроме того, Бирон старался обвинить Миниха в чем только мог: в нерасположении к родителям императора и в опасных замыслах. Но дело в том, что Бирон начал выставить с дурной стороны Миниха, когда узнал о падении первого министра. «Что он, Бирон, вступил в дело о правительстве, в том он, Миних, главнейшую имеет винность, ибо он первейше ему о том говорил, и непрестанно просил, и возбуждал, и понеже он, Бирон, всегда с ним в особливом дружелюбии пребывал, того ради инако подумать не мог, что он, Миних, его, Бирона, с таким горячеством к тому делу, которое наилучше выдуманно, присоветовать будет и по тому присоветованию его, Минихову, основание есть к сему худому делу. Сие все и другим много известно, но никто не дерзает все то сказать, что ведает, как ему, Бирону, и самому было, ежели б он, Бирон, сперва, как генерал Ушаков в Шлюссельбурге был, открыл то, что Миних впервые ему о том предлагал, то б он, Бирон, ныне, может быть, и в живых уже не был; он-де того не говорит, что он впервых на то мнение пришел, но он ему впервых предлагал, а слова и дело не одно, но великая в том стоит разность, ибо иной много говорит, а мало исправит, а он, Миних, действительно исправил, что другие говорили».

«Фельдмаршала, – продолжал показывать Бирон, – я за подозрительного держу той ради причины, что он с прежних времен себя к Франции склонным показывал, а Франция, как известно, Россиею недовольна, и французские интриги распространяются и до всех концов света. Посол (Шетарди) инструкцию свою, которую он получил, никому не открывает, а фельдмаршалу он, однако же, сказывал, что он некоторую получил. Его фамилия впервые, сказывали мне, о прожете принца Голштинского и о величине его, а нрав графа фельдмаршала известен, что имеет великую амбицию, и притом desperat и весьма интересова. Також слышал я от него, что Преображенская гвардия ныне его более любит, нежели при жизни блаженной памяти императрицы; також сказывал он мне однажды по кончине императрицы, что он некоторые полевые полки остановить или ближе к Петербургу приступить велел, на которых он надеяться может; а к чему он их употребить хотел, того он мне не сказывал и я его не спрашивал же. А после того времени принял я в рассуждение, у него первый и люднейший гвардии полк и почти вся армия под командою, а потому ж пришли и вышеобъявленные обстояния: того ради восприял я намерение о сем его императорского величества высоким родителям объявить и мнение свое о фельдмаршале обоим их императорским высочествам я открыл бы, но, понеже его фамилия в милости обращалась, того ради в том отважиться не хотел. О Ханыкове я твердо и свято помыслил, что он намерение свое не в пользу его императорского величества или высоких его родителей предвосприять хотел, но чаял я, конечно, и подлинно, что когда б он собрал великое число солдат, то б объявил принца Голштинского, чего ради приказывал я генералу Ушакову, також и Трубецкому наижесточайше экзаменовать, что не имел ли он какого другого намерения.

Еще приходит мне на память, что назад тому года с два принесли ко мне с почтового двора письмо, писанное к ее императорскому величеству блаженной памяти, и как я то письмо ее императорскому величеству вручил, то оно распечатала, и письмо было по-немецки, а ничьею рукою не подписано, а в оном доне сено, что принц Голштинский тайно в греческой религии обучается. Письма мои явно свидетельствовать могут, была ль когда у меня корреспонденция с голштинским двором, кроме того что, когда поздравительные письма к новому году ко мне писаны и я ему благодарствовал. Помнится, что он к императрице писал собственною рукою русское письмо, о котором ее императорское величество мне сказывала, что собственная его рука, и в оном покойный герцог весьма преклонительно ее просил, чтоб приказать ему 100000 рублей дать, ибо находится он в великом недостатке, и желал ее императорскому величеству в войне ее счастья и благословения. Притом просил он, чтоб его уведомить о ее императорского величества мнении, а пробует ли она, ежели он намерение восприимлет между

сыном своим и принцессою Курляндскою брак предложить; и как ее императорское величество мне оное сказывала, то ответствен я: «Сие есть удивительный брак, дочь моя по милости вашего императорского величества может и без его сына мужа достать; мне королевского высочества в зятя не надобно, пускай он с богом его женит, где он хочет». Императрица ответствовала: «А мне он думает сим способом 100000 рублей достать», взяла письмо и бросила в камелек в Летнем доме, и говорила: «Вот тебе ответ! Он у Басевича выучился плутовать». Наконец, Бирон старался выставить Миниха эгоистом и неблагодарным, именно таким человеком, с которым, как выражалась правительница, всем рисковать можно. «Поступки его в свете уже известны, – говорил Бирон, – как фельдмаршал Флеминг в убожестве его принял и всякое добро ему делал, а он ему какую мзду воздать хотел! Граф Ягужинский много его защищал, а он его в несчастье привел и старался лишить живота и напоследок сослать в Сибирь; графа Остермана, который его всегда добрым показывал и защищал и верно с ним поступал, старался он десять лет лишить чести, живота и имения; графа Остермана старался он весьма со мною ссорить, токмо то не удалось. Ежели все его, фельдмаршаловы, действия, предвосприятые во время войны, в рассуждение приняты будут, то явно покажется, с осмотнительною ли осторожностью или отчаянием произведены. Когда бы в нем совесть была, то бы он втайне мне присоветовать мог, чтоб сей чин (регентство) сложил, что ему по правде и чинить было должно, для того что он первый мне к тому присоветовал. А что напоследок со мною учинил, и тоне от ревности к его императорскому величеству или государству, но к тому возбудили и привели его три причины: 1) увидел, что народ был в беспокойстве, и для того хотел себя наперед показать, понеже когда бы дошло до следствия, то бы явно показалось, что он впервые мне предлагал и более в том побуждение чинил; 2) чтоб получить от его императорского величества милость и потом чрезмерную свою амбицию удовлетворить; 3) свою несытность насытить».

По поводу обвинения в намерении ввести в Петербург армейские полки, также взять из гвардейских полков, Преображенского и Семеновского, дворян и распределить их по другим полкам, а в гвардию набрать из мужиков Бирон также указал на Миниха: «О раскасовании гвардии полков и о намерении другими он не говорил, кроме того, что как при жизни ее величества, так и после говаривал он, что лучше в тех полках солдатом быть не из дворян, а дворян производить в офицерство, понеже оные чрез многие годы в солдатстве продолжают без произвождения. О других полках, как припомнить он мог, сказывал ему генерал-фельдмаршал неоднократно, что он некоторые полевые полки привел к С.-Петербургу, ибо он на те полки надежен, а для чего он то чинил и в чем на них надежду имел, того не открыл». Наконец, Бирон набросил тень и на сына Минихова, гофмейстера, женатого на Менгден, сестре фаворитки: «Бестужеву о шпионах говорил ли я, что при дворе их императорских высочеств от меня имеются, того не упомяну, только я имел надежду на гофмейстера графа фон Миниха: он мне обо всем, что при дворе ее высочества обо мне или об чем другом новом услышит, за то, что я ему награждение чинить обнадужил, сообщать обещал, ибо ему лучший к тому случай был, что его своячина при ее высочестве в ближайшей милости находится, в чем и надежду на него имел; только он мне ничего не сообщал за краткостью времени до моего несчастья».

Старания Бирона сложить всю вину на Миниха несколько не облегчили его собственной участи. Генералитетская комиссия, состоявшая из осьми членов (графа Чернышева, Хрущева, Лопухина, Бахметева, Новосильцева, Яковлева, Квашнина-Самарина, Соковнина), 8 апреля приговорила казнить бывшего регента смертью, четвертовать и все имение отобрать в казну; но 14 апреля издан был манифест, в котором от имени императора говорилось: «Как мы по природному нашему великодушию и в рассуждении добровольного признания как всегда, так и ныне особливо к милости больше склонны, так указали мы его от смертной казни всемилостивейше освободить, а, напротив того, со всею его фамилиею, також и братьев его обоих, и зятя Бисмарка, которые в вине оскорбления величества явно с ним обще приличились, по отписании всего их имения на нас в вечном заключении содержать, дабы тяжкое оное гонение

и наглые обиды, которые верные наши подданные от него претерпели, без всякого взыскания не остались, також всему тому, что нашему государству, и общему покою, и благополучию опасно и вредительно быть может, таким образом вдруг предупреждено было».

Этот любопытный манифест начинается воспоминанием о Годунове, который по искоренении древней фамилии российских царей избран на царство своими советниками и единомышленниками и привел было Россию к совершенному падению, если бы премудрый промысл божий этому не воспрепятствовал. Всякий легко мог понять, к чему клонилась речь о Годунове; но после Годунова поведена речь о двоевластии, бывшем при царе Михаиле, сказано, что народ, боясь прежних коварств, просил его величество принять в помощники и правители отца своего, патриарха Филарета, которому был дан и титул великого государя, а от этого самого времени Российская империя высочайше процвела и распространилась. Если этим намеком хотели указать, что Россия процветет и распространится в правление матери императора, то намек был неудачен, потому что при царе Михаиле соправителем был отец. Очень может быть, что манифест был составлен Остерманом или по его мысли и нарочно был вставлен намек на необходимость быть правителем отцу императора.

Далее манифест обращается опять к сравнению Бирона с Годуновым и обвиняет герцога Курляндского в невинном пролитии крови и в мучительном заточении многих знатных особ духовного и светского чина, обвиняет в коварствах и интригах, направленных против родителей императора; обвиняет в том, что он, Бирон, «чрез своих креатур различные способы употреблял в Российской империи, яко самовластному государю быть, у нас самодержавную власть вовсе отнять и наших родителей от правления исключить». И здесь говорится о замысле исключить из правления обоих родителей. Потом Бирон обвиняется в получении не по достоинству своему неисчислимого богатства, тогда как в Россию прибыл в «мизерном состоянии».

Бирон был сослан в Пелым, где для него был выстроен дом, как говорят, по рисунку Миниха – знак, что судьба герцога Курляндского была решена уже давно, когда еще Миних был первым министром. Сосланы были его братья, свояк Бисмарк; но вместе с Бироном и Бисмарком арестован был русский человек, вполне преданный регенту, кабинет-министр Бестужев-Рюмин. Одно из обвинений Бирону было: «Вы Бестужева всегда фаворитом имели и в Кабинет министров ввели с великим презрением и поношением прежних министров». И в обвинениях Бестужеву выставлено искание и получение благосклонности бывшего регента: 1) быв в Копенгагене, с Бироном корреспонденцию имел и во время первого его в С.-Петербург приезда искал он в нем, дабы чрез него получить кавалерию Александра Невского и прибавку жалованья, что и получил. Когда послан паки в Копенгаген, то он, Бирон, произвел его тайным советником и еще обещал произвести в кабинет-министры и отцу его в вине прощение исходатайствовать; 2) по повелению Бирона у датского двора старался, чтоб Бирону титул светлости придан был; 3) после вторичного приезда Бестужева в Петербург Бирон произвел его в кабинет-министры. Потом следуют обвинения в известном уже старании Бестужева доставить Бирону регентство и удержать его за ним. Бестужев вел себя дурно при допросах: сначала обговаривал Бирона, потом, когда Миних перестал быть в силе, начал признаваться, что наговаривал ложно на бывшего регента, желая угодить Миниху и получить посредством него облегчение своей участи; просил помилования для страдания спасителя, для здоровья и благополучия императора и родителей его. Но комиссия 27 января 1741 года определила: Бестужева четвертовать.

Бестужева четвертовать; но в том же самом старании утвердить за Бироном регентство сверженный регент обвинял и других. По его показаниям привлечены были к делу и оказались виновны: фельдмаршал граф Миних, канцлер и кабинет-министр князь Черкасский, генерал Ушаков, обер-шталмейстер князь Куракин, адмирал граф Головин, генерал-прокурор князь Трубецкой, обер-маршал граф Левенвольд, тайный советник барон фон Менгден, тайный советник фон Бреверн, генерал-майор Албрехт. 24 апреля им было объявлено прощение;

объявление это оканчивалось так: «Хотя по оным явным обличениям, по силе прав государственных надлежало о таком вредительном нам самим и нашим родителям и спасаемом всей нашей Российской империи деле вконец доследовать, однако ж мы по природному нашему великодушию, из высочайшей нашей имп. величества милости вас во всем том прощаем в том уповании, что впредь по должности своей данной нам присяги верно и истинно поступать будете и к таким бездельным вредительным делам приставать не станете».

Бестужеву-Рюмину также было объявлено прощение, с тем чтоб подробно описал все, как Бирон достиг регентства; но по указу 22 мая он был сослан в отцовскую пошехонскую деревню на житье без выезда, а жене его и детям пожаловано на пропитание 372 души в Белозерском уезде, оставшиеся за раздачею.

Не сочли неблагоприятным, опасным для нового правительства дважды оскорбить главных лиц в государстве, оскорбить обвинением и прощением. Миниха простили вместе с другими; но в манифесте о винах Бирона обнародовано и обвинение человеку, свергнувшему Бирона; в числе вин бывшего регента читали: «Ведая подлинно, что некоторая знатная персона по своим поступкам еще при жизни нашей государыни-бабки подозрительна была в том: 1) что с таким иностранным двором дружбою собязана, который Россиею недоволен; 2) некоторых из россиян, честных, заслуженных людей, в несчастье привел и старался лишить живота и имения; 3) имел (Бирон) из его писем довольное основание, что упомянутая персона к российским честным людям и ко всей нации весьма зол, и о том по самое свое падение молчал и потакал, и, с ним крайнее дружество имея во всех своих делах и начинаниях, на него крепкую надежду полагал».

Бывшего первого министра постарались выставить «персоною, к российским честным людям и ко всей нации весьма злою» и, разумеется, должны были предполагать, что персона будет за это весьма зла. В страхе пред этою злостью не знали, что делать с Минихом, куда его девать. Удалить его в ближайшее ингерманландское поместье – опасно: будет знать обо всем, что делается в Петербурге, и по характеру своему не останется в покое. Назначить ему пребывание в его ливонских владениях? Но он там, окруженный своими, может предпринять что-нибудь в пользу шведов. В украинских? Но и прежде, при императрице Анне, недали ему главного начальства в Малороссии, дали Кейту, боясь, чтоб Миних не поднял козаков. Боялись оставить его в России, боялись выпустить за границу. Были даже внушения, что всего безопаснее сослать Миниха туда, где он не будет знать того, что делается в Петербурге, не будет в состоянии ни поднимать козаков, ни помогать шведам – сослать в Сибирь; и внушениям этим последовали бы, если бы фрейлина Менгден не заступилась за своего родственника. А боялись Миниха сильно: стража во дворце была удвоена; шпионы следили повсюду за фельдмаршалом и доносили о всяком его поступке; принц и принцесса Брауншвейгские каждую ночь меняли спальни до тех пор, пока Миних не перебрался из их соседства на другой берег Невы.

Регент Бирон сослан; Миних уже не первый министр, он и фельдмаршал только по имени, лишился всякого значения; Бестужев сослан. Кто же остался? Остался невредим тот, кого и прежде величали душою Кабинета. Остерман остался незаподозренным; даже и тело Кабинета, князь Алексей Михайлович Черкасский, подвергся следствию и обвинен, ибо получил прощение в вине; один Остерман вышел чист, безучастен в деле Биронова регентства. Никогда еще Остерман не был так могуществен, как в первое время после падения Миниха. «Можно без преувеличения сказать, – писали послы иностранные, – что Остерман теперь настоящий царь всероссийский; он имеет дело с принцем и принцессою, которые по своим летам и по тому положению, в каком их держали, не могут иметь никакой опытности, никаких сведений». Теперь взглянем, в каком положении находились внутренние и внешние дела в руках первого министра Миниха и великого адмирала Остермана.

Мы видели, что по указу 28 января для отнятия слишком обширной власти у первого министра Кабинет был разделен на три департамента – военный, внешних дел вместе с мор-

ским и внутренних дел. По военному департаменту в правление Миниха вышел именной указ 31 января, подтверждающий распоряжение предшествовавшего царствования об отставке военных чинов по выслуге 25 лет, считая от 20. Как сказано в самом указе, он был вызван тем, что распоряжение императрицы Анны не исполнялось, ибо когда по окончании турецкой войны все бросились в отставку, то почли нужным затормозить движение, придумывая различные ограничения и затруднения, как, например, стали требовать, чтоб просящийся в отставку представлял аттестаты от всех полков, где бы ни служил. Поднялся, разумеется, ропот: дали льготу и отнимают, и вышел указ 31 января: «Ныне мы усмотрели, что служащему в полках шляхетству отставка не только таким, кои по выслужении определенных 25 лет, но и тем, которые за ранами и неисцельными болезнями, за совершенною старостью и дряхлостью, имея при себе от полков и генералитета аттестаты, об отпуске просят, почти всем генерально остановилась, а понеже мы, дабы шляхетские дома в экономии не упали, но от времени до времени в добром состоянии находиться могли, имеем прилежное попечение: того ради повелеваем шляхетству от воинской службы отставку чинить в нашей Военной коллегии с таким наикрепчайшим притом подтверждением, дабы оная коллегия в той отставке поступала с довольным рассмотрением и свидетельством по аттестатам командующего генералитета, и от полков, и докторским, и лекарским и отставлены были такие, кои за совершенную старостью и дряхлостью и за неисцельными болезнями более полевой и гарнизонной службы снести не могут, такожде и те, кои просить будут об отставке по экономии, по выслужении, считая от рождения двадцати до сего назначенных 25 лет, не взыскивая при том таких затруднительных и почти невозможных аттестатов от всех полков, в коем бы кто ни служил».

Относительно дел внутренних и правительница, подобно своим предшественникам, должна была прежде всего издать популярный, но малодействительный указ против исстари знаменитой *волокиты*. В именном указе, данном Сенату 27 ноября 1740 года, говорилось: «Нам не безызвестно есть, коим образом не только в коллегиях и канцеляриях, но и в самом Сенате по подаваемым от наших верных подданных, а паче от людей бедных и неимущих челобитным не только в определенном сроке, но и чрез долго-прошедшие времена и годы решения не чинятся и те бедные челобитчики, таскаясь за теми своими делами, приходят в крайнее разорение и нищету и напоследок, не получа никакого решения, принуждены некоторые и вовсе от дел своих отставать, что нам слышать не иначе как зело прискорбно». Таким челобитчикам велено подавать просьбы прямо на имя императора рекетмейстеру Фенину, «и те коллегии, и канцелярии, и самый Сенат, которые таких челобитчиков в указанные сроки не удовольствовались, имеют быть за нерадение и волокиту штрафованы». Вслед за этим указом при Сенате учреждена была особенная комиссия для решения неоконченных дел. Велено подавать в Кабинет ежедневные рапорты о решенных делах не только в Сенате, как делалось и прежде, но во всех коллегиях и канцеляриях, «дабы мы могли видеть, с какою ревностью и попечением данные нами указы и высочайшая воля исполняются». Но 4 марта 1741 года вдруг вышел именной указ Кабинету: «Указали мы рекетмейстеру Фенину в той должности не быть и челобитчикам свои прошения подавать в тех местах, кому где по прежним указам повелено». Если мы обратим внимание на день выхода указа — 4 марта, а 3 марта дана отставка Миниху, то не можем не прийти к заключению, что позволение подавать жалобы на волокиту канцелярий, коллегий и самого Сената было делом первого министра, с падением которого падало постановление, исчезал и рекетмейстер Фенин.

Прежние указы против нищенства оказывались так же недействительны, как и указы против волокиты в судебных местах, и потому придумали запереться в Петербурге от нищих: в июне 1741 года Сенат приказал нищих обоего пола в С.-Петербург ниоткуда отнюдь не пропускать. Из указа видно, что нищие, приходившие в Петербург, были большею частию помещичьи крестьяне. На северо-западе их не пускали в столицу; на юго-востоке их по-прежнему пускали на Дон и Яик, и оттуда по-прежнему требовало их правительство по жалобам земле-

владельцев. Но нужно было принять меры против зла, которое делало нищими и горожан – купцов богатых: то было банкротство, и в декабре 1740 года издан был устав о банкротах, в предисловии к которому говорилось: «Известно есть, какие убытки и ущербы от банкротов общему народу, и особливо коммерции, происходят, ибо от тех кредиту ослабление и купечеству остановка чинится; а надежность и имение всякого торгового человека в сомнение приводится и напоследи множество безвинных людей в великие убытки и часто в крайнее разорение и в самую нищету приходят. И понеже весьма нужно, дабы оному вредительному злу всячески предупредить; того ради учинен сей устав, который частью с правами и обыкновениями других государств, в которых негоция расцветает, сходен, частью ж по обстоятельству дела тако потребен».

Относительно промышленности правительство сочло нужным обратить внимание на суконные фабрики, которые поставляли свои произведения на войско, а войсковое начальство подняло сильные жалобы против дурного качества сукон. Без сомнения, по настоянию первого министра в январе 1741 года Кабинету дан был именной указ исследовать, почему на русских фабриках делаются плохие сукна. Составлена была комиссия, которая нашла, что работы на фабриках производятся медленно от недостатка регламентов, как поступать рабочим людям, например, чтоб не по своей воле на работу и с работы ходить. Комиссия нашла, что надобно учредить над фабриками директоров, которыми в настоящее время могло быть двое: суконный фабрикант Степан Болотин да иноземец Шмит; Болотин в молодые лета иностранным языкам научился, в чужие края ездил, а потом занимался купечеством и суконными фабриками. Тут же комиссия представила и регламент суконным и каразейным фабрикам.

В декабре 1740 года правительница восстановила запрещение, «чтоб отныне вновь богатых с золотом и серебром и из других шелковых парчей и штофов дороже от трех до четырех рублей платьев никто из наших подданных (окроме трех первых классов и кто из придворных наших кавалеров сами пожелают) делать и носить не дерзал, яко же благополучное государственование всякого зависит не от чего иного, как от удовольствия и соблюдения от всяких излишностей своих подданных». Но что за смысл в выражении: дороже от трех до четырех рублей?

Еще в 1738 году медицинская канцелярия требовала резолюции послать в Париж молодых лекарей – шесть человек с годовым жалованьем каждому по 300 рублей, «чтоб там в хирургии и анатомии так утвердились, дабы при главных госпиталях в Российском государстве, а именно в С.-Петербурге, Москве и Кронштадте, для обучения подлекарей и лекарских учеников могли употреблены быть; а между тем, пока оные шесть лекарей в Париже выучатся, от оной канцелярии старание приложено будет, как наилучше возможно здешних хирургических школ содержать». Кабинет остановился на вопросе: каких молодых людей пошлет канцелярия в Париж, русских или иноземцев? Потому что иноземцы могут взять русские деньги и не возвратиться; поэтому в Кабинете последовала резолюция такая: «Справиться, молодые лекаря иноземцы или русские посылаются в Париж, и, если иноземцы в России родились и семейство имеют, таких, как природных русских, можно послать, однако взявши с отцов их или родственников подписку, что они возвратятся в Россию». Быть может, вследствие этого затруднительного условия, постановленного Кабинетом, только в 1741 году медицинская канцелярия представила молодых людей, годных для отсылки за границу, и то не более троих, из которых один русский – Ножевщиков, двое других – иноземцы, родившиеся в России, Минау и Цирольд. В инструкции им, между прочим, говорилось: «По приезду их в Париж наведываться им того ж часа о квартире его княжеского сиятельства принца Кантемира, а при отдании поклона предаться им в его защищение и протекцию, а потом отдать им г. профессору Гунольту отправленное к нему писание и в науке их поступать им по его советам и наставлению». Они должны были в продолжение трех лет обучаться анатомии, хирургии, лечению очных болезней, употреблению бандажей и как новорожденных принимать».

В Синоде по смерти Феофана Прокоповича первым членом был Амвросий Юшкевич, епископ Вологодский, и потом архиепископ Новгородский, далеко не могший заменить Феофана ни по способностям, ни по энергии. Все оставалось по-прежнему, хотя Юшкевич был противного Феофану направления. Только падение Бирона подало Синоду надежду на возможность исполнения двух самых сильных желаний. Мы видели меры Петра Великого против наполнения монастырей людьми, шедшими туда не по призванию; мы видели также, что меры эти после не исполнялись: позволяли себе для шутки постригать мальчиков без всякого приготовления; но когда при Анне взял верх Феофан Прокопович, то он, считая меры Петра относительно монашества своими собственными, восстановил их во всей строгости. В декабре 1740 года Синод просил всемилостивейшего указа постригать из разночинцев, уволенных от всех служб, особенно учительных людей, также из крестьян, которые в монастырях к экономическим и прочим исправлениям потребны, иначе монастыри совершенно опустеют и заведенные училища останутся без учителей. Позволение последовало, но велено притом смотреть, чтоб постригали только в потребном числе, без всякого излишества, для чего посылать в Синод ежегодно рапорты: в том году из каких чинов сколько пострижено и сколько в каком монастыре церквей и монахов, чтоб Синоду можно было видеть, не будет ли где лишних монахов; а вперед Синоду иметь прилежное старание о сочинении порядочного штата всем монастырям, какому числу монахов в каком монастыре быть, что им из доходов употреблять, а остальные доходы употребить на госпитали, на школы, на содержание сирот, показав, какому числу где быть и что следует издерживать на их содержание.

Исполнение одной просьбы подавало надежду, что будет исполнена и другая. Мы видели, что с 1701 года архиерейские и монастырские имения находились в ведении Монастырского приказа, управлявшегося графом Ив. Мусиным-Пушкиным; потом, с учреждением Синода, они перешли в его ведение. В 1727 году все имения были отданы в ведомство архиерейских домовых вотчин и монастырей по принадлежности; но петровское разделение на вотчины, определенные на содержание архиерейских домов и монастырей, и на вотчины, доходы с которых шли на благотворительные учреждения, оставалось, и духовенство платило с последних вотчин денежные и хлебные доходы в коллегию Экономии. В 1740 году граф Платон Мусин-Пушкин подал доношение в Кабинет, что когда имения духовенства были в ведении Монастырского приказа, то архиерейские дома и монастыри были во всяком довольстве, сверх того, доходами с этих имений содержался в Москве большой госпиталь и за всем тем с 701 по 711 год в казне осталось более 1000000 рублей и доимок не было, вследствие чего потребовал, чтоб те вотчины, доходы с которых шли в коллегию Экономии, были и в полном ведомстве этой коллегии, а дома архиерейские и монастыри управляли бы только вотчинами, назначенными на их содержание, что и было исполнено. Теперь Синод представил, что бывший граф Мусин-Пушкин в своем доношении показал ложно, и просил, чтоб вотчины, доходы с которых шли в коллегию Экономии, по-прежнему находились в ведомстве монастырей, которые бы получали из них съестные припасы и пользовались работами крестьян, без чего монастыри содержаться и поддерживать свои строения не могут. И эта просьба была исполнена.

Выгораживая память императрицы Анны и обременяя ответственностью за все при ней сделанное фаворита ее, послали указы о возвращении ссыльных аннинского царствования: освободили из крепости Феофилакta Лопатинского, которого уже считали мертвым. Полумертвого Феофилакta привезли на новгородское подворье, очистили от грязи, в которой держали его в крепости, и Амвросий Юшкевич со слезами на глазах одел его в монашеское и архиерейское платье. Приехала цесаревна Елисавета и спросила Феофилакta, знает ли он ее. «Ты искра Петра Великого», – отвечал тот. Цесаревна отвернулась и заплакала; она оставила ему на лекарство 300 рублей; но лекарство уже не могло помочь: в мае 1741 года Феофилакт умер. Синод потребовал от Тайной канцелярии известия, где другие сосланные при Анне архиереи: Георгий Дашков, Сильвестр, Игнатий, Лев. Получен был ответ, что двое – Сильвестр и

Георгий – уже умерли, Игнатий и Лев живы, их освободили из заточения и поместили в монастыре простыми монахами. Маркел Родышевский освобожден был из Тайной канцелярии и отослан в Синод для определения в монастырь. Освобожден из ссылки Аврамов. Жене казенного фаворита Петра II князя Ивана Долгорукого княгине Наталье Борисовне из отписного имения свекра ее, князя Алексея, дано село Старое Никольское с деревнями в Вологодском уезде. Были пожалованы чинами все пострадавшие в последнее время при Бироне: Яковлев, Пустошкин, Ханыков и другие.

Но эти милости к опальным прежнего времени далеко не могли доставить Анне Леопольдовне такого народного расположения, которое поддержало бы ее колеблющееся правление. Для этого к милости нужно было присоединить твердость, деятельность и разумность, а этих качеств и не доставало правительнице. Все ждали, что по свержении Миниха власть перейдет в искусные руки Остермана. Действительно, к Остерману обращались как к первому министру.

В марте 1741 года Кейт писал ему из Глухова: «Я должен признаться, что без помощи генерал-майора Шипова, который хорошо знает канцелярский порядок и объясняет мне все то, что я не могу знать сам, я был бы в большом затруднении на моем месте, не имея возможности узнать о чем-либо от здешних кобацких ассессоров. Я осведомился здесь о поведении Шипова и не слышал на него ни одной жалобы; он не запирается, что берет подарки, т.е. безделицы, необходимые для стола, и я вижу, что давний обычай страны освящает это; но он клянется, что никогда не взял ни копейки денег, хотя ему часто их предлагали. Пред моим отъездом из Петербурга ваше превосходительство сказали мне, что вакантные места не должны быть замещены до тех пор, пока я буду на месте и не спишусь с вами. Я просмотрел лист кандидатов и нашел мало лиц, мне известных, так что мне невозможно представить своего мнения о их способностях. Если бы на место Камынина ассессором в главную войсковую канцелярию я мог иметь полковника Ливена, то я уверен, что он был бы полезен. Я поставил своею обязанностью свободно открывать мои мысли вашему превосходительству, ибо вижу в этом единственное средство изучить истинные интересы этой страны относительно России; поэтому я должен вам сказать, что нахожу здесь скрытное нерасположение к русским; малороссияне думают, что дела пошли бы лучше, если бы в комиссии было несколько иностранцев. Я не вижу никакого препятствия удовлетворить этому желанию здешних жителей и потому предлагаю Ливена».

К Остерману обращался и донской атаман Данила Ефремов с такими, например, письмами: «Вашему высокографскому сиятельству небезызвестно, каким образом не токмо бригады Иван Краснощочков, Иван Фролов, яко по заслугам, но и дети Краснощочковы высочайшею его им. в-ства милостию награждены и большими медалями пожалованы, а я, низжайший, как о том уведал, то не мог без соизволения вашего высокографского сиятельства, яко издревле милостивого государя и отца, смелости принять в высшее место прошение взнестъ, но токмо низжайше прошу, дабы чрез вашего высокографского сиятельства милостивейшее ходатайство против означенных бригадиров высочайшей милости не был оставлен, в чем отдаю себя во всемилостивейшее ваше покровительство и остаюсь с должнейшим моим рабским почтением, милостивейший государь, вашего высокографского сиятельства всепокорнейший раб».

Но очень скоро люди, бывшие поближе, чем Кейт и Ефремов, увидели, что Остерман не только не царь всероссийский, но даже и не первый министр, что ему нужно употребить большее усилие, произвести новый, более трудный переворот, чем свержение Бирона и Миниха, чтоб стать таким всемогущим правителем, каким издали его представляли. Анна Леопольдовна сама не могла управлять, ей было скучно заниматься делами; но в то же время она не умела и не хотела найти человека опытнее, способнее других, на которого бы могла сложить все бремя дел, т.е., не производя никаких перемен, сложить все это бремя дел на Кабинет, а в Кабинете по удалении сначала Бестужева, а потом Миниха душою оставался по-прежнему Остерман, а кн. Черкасский – только телом, следовательно, Остерман становился на деле первым министром. Но Анна Леопольдовна, не умея управлять, скучая делами, хотела, однако, управлять,

и это желание, естественно, поддерживали в ней приближенные люди, которые хотели управлять, по крайней мере вмешиваться в управление, играть видную роль, пользоваться важным значением. Такими приближенными людьми были фрейлина Менгден и граф Михайла Гаврилович Головкин, которые не любили Остермана, не хотели подчиняться ему. Вполне был предан Остерману, вполне подчинялся его влиянию принц Антон; но это только вредило Остерману во мнении правительницы и ее приближенных, потому что между мужем и женою были нелады. Отсюда естественное желание Остермана поднять значение принца Антона, а это желание только усиливало нерасположение к нему со стороны правительницы и людей к ней близких.

Для лучшего уяснения отношений, господствовавших при тогдашнем дворе, характера лиц и способа их действий приведет следующий рассказ.

У Амвросия Юшкевича сидит гость, действительный статский советник Темирязов; ведется разговор политический. «Остерман, – говорит хозяин, – делает в государстве многие неправды; думаю, что и в нынешней шведской войне он больше виноват; я на него многократно государыне говаривал, только к нему ничто не льнет». Темирязов: «Да и манифест о правлении великой княгини, чаю, он сочинял!» Архиерей: «Он, он! Да и регенту он все помогал, все действия его, только к нему ничто не льнет!» Темирязов: «Смотрите, преосвященный, как он регента сверстал с великою княгинею!» Преосвященный восторженно, принес манифест: «Ради бога покажи, в которой речи он сверстанье учинил?» Темирязов показал ему, что по смыслу манифеста великая княгиня должна править на том же основании, как правил Бирон. «Поставь против этой речи точки, я малопамятен», – сказал ему архиерей. Темирязов поставил точки. «Хорошо, – продолжал преосвященный, – я пойду к государыне и покажу на него, Остермана, все, что это подлинно все его дело».

Дня через два Темирязов опять приехал к архиерею спрашивать, как идет дело. «Донесил я государыне об этом, – отвечал Амвросий, – она изволила сказать, что подлинно тем обижена, да не только тем, что с регентом ее свертали и дочерей ее обошли; а про Остермана ничего не изволит говорить, к нему ничего не льнет; он и книгу у нас запечатал, *Камень веры*; я сколькократно на него просил государыню, чтоб ту книгу распечатать, только не мог милости получить, и поднесь книга запечатана, и во всем он все мешает через генералиссимуса, для того и мы ему противны, что он не одного снами закону. Знает ли тебя фрейлина Менгденова, она очень у великой княгини в милости». «Не знает», – отвечал Темирязов. «Ну так ты пойди к ней, – продолжал архиерей, – и про манифест, как сравнена великая княгиня с регентом, скажи, и ту речь покажи, и то ей подкрепи, что все это – дело Остерманово; может, что она будет великой княгине на него представлять».

Темирязов не знал, как пройти к Менгден: архиерей послал келейника показать ему крыльцо, ведущее к ее спальне. Только что начал Темирязов объяснять фаворитке обиду, нанесенную принцессе Анне в манифесте, о сверстании с Бироном, как та перебила его: «У нас все это есть, *мы* знаем, постой-ка здесь», и сама ушла. Темирязов догадывался, что она пошла к правительнице. Возвратившись, Менгден начала говорить: «Сходи ты к Михайле Гавриловичу (Головкину), скажи ему, что он по приказу великой княгини написал ли, и буде написал, то бы привез, да и манифест, как сверстана великая княгиня с регентом, покажи, и что он тебе скажет, ты приди сюда и скажи». Темирязов отправился к Головкину; тот взял манифест, посмотрел и сказал: «*Мы* про это давно ведаем, я государыне об этом доносил обстоятельно; а написано или нет, скажи фрейлине, что я сам завтра буду во дворец».

Темирязов отправился к фрейлине, вошел к ней в спальню смотрит: вместо фаворитки сама правительница. «Что с тобой говорил Михайла Гаврилович?» – спросила Анна. Темирязов пересказал слова Головкина. Принцесса начала опять: «Мне не так досадно, что меня свертали с регентом; досаднее то, что дочерей моих в наследстве обошли; поди ты напиши таким манером, как пишутся манифесты, два: один в такой силе, что буде волею божиею госу-

даря не станет и братьев после него наследников не будет, то быть принцессам по старшинству; в другом напиши, что ежели таким же образом государя не станет, чтоб наследницею быть мне». Темирязов оцепенел от ужаса. Подыскаться под манифест Остермана он сумел, но самому написать два манифеста, самому вдруг из Темирязева сделаться Остерманом!.. «Чего ты боишься, – продолжала Анна, – ты государю присягал? Присягал также, чтоб у меня быть послушну?» «Присягал», – отвечал Темирязов. Анна была неумолима в своей наивной логике. «А коли присягал, – продолжала она, – то помни присягу и поди сделай и, сделав, отдай фрейлине, только этого не проноси, помни свою голову». С этими грозными словами несчастный Темирязов был отпущен. Что оставалось ему делать? Самому не написать, надобно посоветоваться с каким-нибудь знающим человеком; и вот Темирязов отправляется к секретарю Иностранной коллегии Познякову: так и так, выручи ради бога! «Что же делать, – отвечал Позняков, – не робей, много ныне непорядков происходит, да коли это приказано от правительницы, то сделать надобно». «Сделай ты, напиши», – стал умолять Темирязов. «Добро, – отвечал коллежский искусник, – я напишу и уж к тебе завезу». Действительно, ночью Позняков явился к приятелю с манифестами; обрадованный Темирязов отвез их немедленно к фрейлине.

Между тем правительница призвала Остермана и спросила его, каким образом случилось, что в утверждении о наследстве не упомянуто о принцессах, которые всегда в России за неимением принцев наследницами бывают? Тоном вопроса правительница давала знать Остерману, что она считает его виновником этого упущения. «Надобно подумать, – продолжала Анна, – как бы это поправить; приходил ко мне Темирязов и объявлял, что об этом и в народе толкуют». На другой день Остерман отправил к правительнице маленькое письмо. «Понеже, – писал он, – то известное дело важно, то не прикажете ли о том с другими посоветовать, а именно с князем Алекс. Мих. Черкасским и архиереем Новгородским?» Правительница отвечала собственноручно, что кроме этих лиц надобно призвать к совещанию и графа Мих. Гаврил. Головкина, потому что это дело от него происходит. Остерман послал к Головкину звать его к себе. Головкин приехал и, поговоря о деле, объявил, что денька два подумает и пришлет сказать, когда им всем съехаться. Наконец съехались у Остермана Головкин, Черкасский, Амвросий Юшкевич, но события не дали им покончить своих толков.

Мы видели, как народное чувство, оскорбленное господством иностранцев, высказалось тотчас же по смерти императрицы Анны, когда герцог Курляндский объявил себя регентом. Падение Бирона приняли с восторгом; но скоро увидали, что прежний порядок вещей оставался, только ослабел вследствие розни, усобицы его представителей. Как господство немцев было приготовлено усобицею между способными русскими людьми, оставленными Петром Великим, так теперь падение немецкого господства готовится раздором, усобицею между немцами, которые губят друг друга. Бирон свергнут Минихом; под Миниха подкопался Остерман; но Остерман не может господствовать: он встречает нерасположение в правительнице. Русские не любят Остермана как немца, не любят принца Антона за то же, следовательно, тем более должны быть расположены к Анне Леопольдовне и к графу Головкину, ее главному советнику, который уже выставился как противник Остермана. Какое выгодное положение для Анны Леопольдовны, если бы она умела пользоваться им! Но ее умение вести дела всего резче выказалось в сцене с Темирязовым, где она человека, с которым, вероятно, говорила в первый раз в жизни, заставляет писать манифесты, и в одном из них она должна быть объявлена наследницею престола в случае смерти сына. Головкин и его отношения к правительнице и к фрейлине Менгден также резко выказывались в деле Темирязева. Гораздо влиятельнее Головкина была эта фаворитка Менгден; но она была немка; немцы хлопотали, как бы посредством ее сблизить Остермана с правительницею и удалить Головкина. Остерман жаловался Менгдену, что граф Головкин старался его, Остермана, оставить в подозрении у правительницы и просил похлопотать, чтоб принцесса была к нему милостива. Менгден пошел к фрейлине и говорил ей, чтоб склоняла правительницу иметь более доверия к Остерману, чем к Головкину, потому что

Остерман в делах больше разумеет. От Головкина как человека больного и лишенного энергии не ждали многого; фаворитка, которая могла больше сделать, была немка; и немец Остерман, несмотря на то что к нему не благоволили, имел большую силу: к нему ничто не льнет, жаловался архиепископ Новгородский, не хочет выпускать книги Камень веры, и книга запечатана. Значит, немцы владеют по-прежнему, с тою только разницею, что прежде, при императрице Анне, был порядок, а теперь «много не порядков происходит». Но что всего хуже, будет новый Бирон. В 1735 году саксонский посланник при русском дворе граф Линар по требованию императрицы Анны был отозван своим правительством из Петербурга: причиною было то, что красивый Линар внушил нежное чувство племяннице императрицы Анне Леопольдовне. Теперь Линар является опять в Петербург, и нежные отношения его к правительнице не тайна. Для большего удобства в августе 1741 года Линар объявлен женихом фаворитки Менгден и отправился в Дрезден, чтоб устроить там свои дела, возвратиться в Петербург и вступить в русскую службу в звании обер-камергера. Линар повез с собою 35000 рублей, которые дала ему невеста для положения в дрезденский банк. Линар уже получил Андреевский орден.

Для русских настоящее ничем не лучше прежнего: немцы так же владеют, только беспорядков много, и готовится уже новый Бирон. Это ожидание нового Бирона в Линаре всего более возмущало; чем слабее было правительство, тем громче высказывалось неудовольствие; даже женщины, которых иностранцы находили в России сдержаннее, чем в других странах, не стеснялись в своих речах. Вместе с русскими сильно возмущался и Остерман, потому что в Линаре ему готовился господин еще более тяжелый, чем Бирон: Линар был искуснее в делах иностранных; притом у него с Остерманом и прежде уже были неприятности, когда Линар в первый раз был в Петербурге. Миних, теперь заклятый враг Остермана, должен, естественно, присоединиться к Линару, с которым ему сблизиться легко чрез жену последнего. Чтоб предотвратить опасность, Остерман решается войти в сношения с Головкиным: он посылает к нему двоих своих родственников по жене, Стрешневых, которые более двух часов толковали с ним запершись. Чего не понимала Анна Леопольдовна, то понимает Остерман: он понимает, что идет сильное народное движение, с которым надобно считаться, и он готов на всевозможные уступки: еще в конце марта, уstraшенный движениями фрейлины Менгден в пользу сверженного Миниха и готовностью правительницы сблизиться с своим прежним первым министром, Остерман хлопочет, как бы отстранить Анну Леопольдовну и передать правление принцу Антону; но он знает нерасположение народа к последнему как немцу, иноверцу и потому ведет дело о принятии принцем православия. Любопытно, что в последние дни императрицы Анны иностранные министры знали о намерении обратить принца Антона в православие. Но понятно, что дело было трудное и потому откладывалось, когда опасность уменьшалась. Таким образом, с обеих сторон, на которые делилось правительство, не принималось быстрых и решительных мер по отсутствию лиц, способных на такие меры, ибо, самый даровитый между людьми, желавшими поддержать престол императора Иоанна, Остерман умел пользоваться обстоятельствами, делом чужих рук, умел ходить подземными, потаенными ходами, но был совершенно неспособен стать в челе решительного движения; единственный человек, способный к этому, Миних, был в опале, мог служить только страшилищем для принца Антона и Остермана и запасным орудием для правительницы и Юлии Менгден в крайнем случае. Войско, гвардия, могшие иметь сильное и решительное влияние при всяком важном событии, при всякой перемене, как показал пример восшествия на престол Екатерины I, восстановления самодержавия при Анне, свержения Бирона, гвардия не была на стороне правительства, которое не имело человека, который бы, с одной стороны, был ему предан, а с другой – пользовался любовью войска.

Такая слабость правительства, такое разъединение сил в нем не обещали прочности престолу Иоанна VI; это чувствовали и свои, и чужие, и последние употребляли всевозможные средства ускорить переворот для собственных целей.

Мы видели, что единовременно с императрицею Анною умерли государь австрийских земель император Карл VI и прусский король Фридрих Вильгельм I. Слабость русского правительства в царствование преемника Анны, внутренние смуты, поглощавшие все внимание, приходились именно в то время, когда в Европе поднималась сильная борьба и Россия не могла остаться ей чуждою, ибо по отношениям к соседним державам, Швеции, Польше и Турции, у нее определились отношения и к другим европейским державам, а теперь готовился переворот в системе этих держав: владения австрийского дома, союзного России, назначились к разделу, что усиливало Францию, враждебность которой к России была очевидна. Императором Карлом VI прекращалась мужская линия Габсбургского дома: у него была только одна дочь Мария Терезия, выданная замуж за герцога Франца-Стефана Лотарингского, который по Венскому миру променял Лотарингию на Тоскану. Карл VI хотел, чтоб все владения Габсбургов достались нераздельно его дочери, он думал, что дипломатическим путем, путем уступок, обеспечит дочери наследство, склонит все дворы признать его распоряжение, так называемую прагматическую санкцию, но жестоко ошибался: уступками он только выказывал свою слабость и тем приманивал хищников. Принц Евгений Савойский говорил ему, что единственное средство упрочить наследство за Мариею Терезиею – это держать наготове 180000 войска.

Кто же могли быть эти враги, против которых, по мнению Евгения Савойского, наследница Габсбургов оружием должна была защищать свое достоинство? Разумеется, старый герой имел прежде всего в виду свое прежнее отечество, Францию, известную соперницу Габсбургов. Франция в описываемое время, казалось, возвратила свое прежнее значение, ослабленное в последние годы царствования Людовика XIV; особенно поднял ее Венский мир, блистательно окончивший бесславную для нее войну за польский престол: она выдала партию Лещинского в Польше, выдала Данциг, заставила тестя своего, короля, спасаться бегством, войска ее не ознаменовали себя никаким значительным делом, а между тем Франция приобрела Лотарингию. Конец венчает дело, и, по словам Фридриха II, с Венского мира Франция была решительницею судеб Европы. С войны за испанское наследство опасною соперницею Франции явилась Англия; но скоро можно было усмотреть, что ее влияние на дела континента вовсе не будет такое непосредственное, как влияние Франции. Англия по своему островному положению – отрезанный ломоть от континентальной Европы, – по своей конституции чужда завоевательных стремлений относительно Европы; вся ее деятельность обращена на другую сторону: она распространяет свои владения за океаном, ее господствующий интерес – торговый; она внимательно приглядывается и чутко прислушивается только там, где дело идет о ее торговых и промышленных выгодах, отчего политика ее принимает характер узкости и односторонности; Англия не любит войны, предпринимает ее только в крайности, когда прямо затронут ее господствующий интерес; любит вести войну чужими руками, давать деньги вместо войска и прекращать войну при первой возможности, когда опасность для ее господствующего интереса прошла. Интересы Ганноверской династии втягивали Англию в дела континента, но она сильно упиралась; и политика знаменитого министра двоих первых Георгов, Вальполя, явно обнаруживала основной характер национальной английской политики – стремление ограничиться тесным кругом насущных интересов страны, боязнь пред вмешательством в континентальные отношения, боязнь пред войною.

В конце 1739 года миролюбивая Англия объявила войну Испании, ибо затронут был господствующий интерес ее, интерес торговый. После долгой и упорной войны, бывшей следствием перемены династии и вмешательства чужих держав во внутренние дела Испании, последняя стала пробуждаться от долгого сна, и средства пробуждающегося народа выказались в преемственной деятельности троих министров – Альберони, Риперды и Патиньо. Морские силы и торговля Испании начали увеличиваться, она готовилась выйти из страдательного положения, в каком до сих пор держали ее иностранцы относительно торговли. Это сильно не понравилось англичанам. «Я замечаю с большим неудовольствием успехи, которые делает

Патиньо в своем стремлении усилить испанский флот», – писал английский посланник; он же наивно жаловался своему правительству на злокозненность Патиньо, «который старается устранить все, что наносит вред Испании». Жалобы посланника находили сильные отголоски в Англии, и миролюбивый Вальполь не был в состоянии сдержать порывы народа, затронутого в своем главном интересе. Пробуждение Испании, ее упорное стремление утвердиться в Италии заставили обратить на неё внимание и рассчитывать на ее участие в войне за австрийское наследство, в которую она должна была вступить, опять имея в виду Италию. Должен был принять участие в войне и король сардинский с целью распространить свои владения на счет австрийских областей в Италии, на счет Милана. Сардинский король Виктор Амедей, по словам Фридриха II, был государем искусным в политике и ясно сознававшим свои интересы; политика Пьемонта состояла в том, чтоб держать равновесие между Австрией и обеими ветвями Бурбонского дома, французскою и испанскою, и этим приобретать средства к распространению своих владений.

Испания будет действовать в Италии; Франция также будет действовать с этой стороны, будет стараться привлечь к себе сардинского короля. Но Франция будет также действовать в Германии, здесь возбуждать против Австрии сильнейших владельцев. Кто же эти сильнейшие владельцы? Во-первых, курфюрст Саксонский, он же и король Польский. Саксония самая богатая страна Германии: она обязана своим богатством плодородию почвы и промышленности жителей; курфюрст получает 6 миллионов талеров ежегодного дохода, у него 24000 войска, но в случае нужды он может иметь еще 8000. Польша доставляла саксонскому курфюрсту королевский титул, но не прибавляла ничего к его силам, а личность курфюрста Августа II (короля Августа III) отнимала у Саксонии возможность играть видную роль. Вот портрет Августа III, хотя и писанный враждебною кистью Фридриха II, однако похожий: «Август был кроток по лени, щедр из тщеславия, без религиозных убеждений подчинялся своему духовнику и без любви преклонялся пред волею жены; кроме этих двух подчинений подчинялся еще любимцу графу Брюлю. Брюль отличался теми тонкостями и хитростями, которые составляют политику мелких владельцев; ни у кого не было больше платья, часов, кружев, сапогов, чулок и туфель. Цезарь отнес бы его к числу тех отлично завитых и раздушенных голов, которых нечего бояться».

Сильным владельцем в Германии считался также курфюрст Баварский. Бавария приносила пять миллионов талеров дохода; Франция платила курфюрсту субсидию в триста тысяч талеров; но курфюрст не мог выставить в поле более 12000 человек.

Но сильнее всех курфюрстов Германии был курфюрст Бранденбургский, носивший титул короля Прусского. В 1740 году народонаселение прусских владений простиралось до трех миллионов, доходы – до семи миллионов с половиною, а число войска – до 76000 человек, из которых почти 26000 были иностранцы. Несоразмерность войска с количеством народонаселения была очевидна; войско было собрано прусским Калитою, королем-скопидомом Фридрихом Вильгельмом I, который копил войско точно так же, как копил деньги, видя в том и другом главные условия силы; он оставил своему преемнику 8700000 талеров в казне и ни копейки долгу. Накопленные силы требовали употребления, войско и деньги вызвали на войну, на завоевание, на приобретение новых сил. Разумеется, все здесь зависело от личности преемника короля-скопидома: деньги могли быть истрачены на пустые удовольствия; войско могло быть также истрачено или продано, как тогда водилось, могло исчезнуть в бесполезных войнах. Но преемником Фридриха Вильгельма был сын его Фридрих II, едва не казненный отцом за то, что отец с сыном не сошлись характерами. Фридрих II развил свои блестящие способности сильным вниманием к литературному движению XVIII века, развил свои способности посредством этого движения, не подчинившись ему в том, что не было полезно ему в его положении. Фридрих II философствовал, либеральничал себе на уме, писал против Макиавелли и не разбирал средств для достижения своих целей. Он решился воспользоваться вопросом об австрийском

наследстве, чтоб употребить накопленные отцом войско и деньги для расширения своих владений. Но он видел, что средств Пруссии недостаточно для ведения успешной войны, и начал искать союзников. Вот его соображения: Франция кроме старинной ненависти к англичанам питала одинаковую вражду и к австрийскому дому; Франция хотела добыть Фландрию и Брабант и довести свои границы до Рейна. Такой план не может быть исполнен вдруг: надобно, чтоб он созрел от времени и чтоб обстоятельства ему благоприятствовали. Таким образом, Франция могла быть верною союзницею в войне против Австрии. Что касается других государств, то Испания и Австрия почти равны силами; но Испания может вести войну только с Португалией или с Австрией в Италии, тогда как Австрия может воевать всюду: у нее больше подданных, чем у короля испанского, и она может посредством интриги присоединить к своим силам силы Германской империи. Но Испания богаче Австрии; последняя, как бы ни обременяла налогами своих подданных, все будет нуждаться в иностранных субсидиях для войны; кроме того, она истощена турецкою войною, обременена долгами. Пруссия не так сильна, как Испания и Австрия, не может меряться с ними один на один, но может занять следующее за ними место. Пруссия может действовать, только опираясь на Францию или на Англию. Можно идти вместе с Франциею, которая всегда желает себе славы и австрийскому дому унижения. От англичан можно вытянуть только субсидии, которые они дадут, имея в виду собственные интересы.

Фридрих не ошибся относительно чувств Франции к австрийскому дому, но ошибся относительно военных средств Франции, которая была уже не прежняя. На ее престоле сидел Людовик XV, который уронил монархическое начало во Франции настолько, насколько оно было поднято знаменитым его предшественником; вместо короля, дряхлого в молодости своей, управлял дряхлый летами кардинал Флёрри, не любивший войны, старавшийся поддерживать значение Франции только средствами дипломатическими. Аристократия французская также одряхлела и не могла выставить ни одного замечательного полководца. Когда 20 октября 1740 года умер император Карл VI, во Франции произошло движение, но движение конвульсивное, которое лучше всего выразилось в деятельности графа Белиля, вождя воинственной партии. Никакого заранее составленного плана действия не было.

Дочь Карла VI, Мария Терезия, приняла титул королевы Венгерской и Богемской, но курфюрст Баварский Карл предъявил свои права на габсбургское наследство как муж дочери старшего брата Карла VI, бывшего императора Иосифа I. Баварские претензии остались бы претензиями, если бы в Германии не было Фридриха II прусского. Когда другие еще думают и пишут, Фридрих начинает дело. Несмотря на то что Пруссия признала права Марии Терезии, или прагматическую санкцию, прусское войско в конце 1740 года вступило в Силезию под предлогом, чтоб другие претенденты на австрийское наследство не заняли этой провинции; в то же время Фридрих предложил Марии Терезии, что гарантирует прагматическую санкцию и поможет мужу ее, Францу Лотарингскому, получить императорскую корону, если она уступит Пруссии часть Нижней Силезии за 6 миллионов. Предложение было отвергнуто. Мария Терезия обратилась к державам, гарантировавшим прагматическую санкцию: помощи ниоткуда, а между тем пруссаки уже овладели большею частью Силезии. Удержит ли Фридрих свою добычу? Решение этого вопроса зависело от Франции и России. Во Франции Белиль настаивал на необходимости войны: правительство отдаст отчет потомству, если не воспользуется таким благоприятным случаем для окончательного сокрушения австрийского могущества; не нужно много войска, много денег для раздробления австрийских владений, и после этого раздробления в Германии не будет уже ни одного сильного государства, которое было бы опасно для Франции; надобно соединиться с Бавариєю, давнейю союзницею Франции, дать курфюрсту Карлу императорскую корону, Богемию, австрийскую Швабию, Тироль, Верхнюю Австрию; Милан отдать второму сыну испанского короля, женатому на дочери Людовика XV; Марии Терезии оставить Венгрию, Нижнюю Австрию и Бельгию (которая, принадлежа к такому сла-

бому и отдаленному государству, может быть всегда легкою добычею Франции). Старик Флэри был против войны, но за войну была, любовница королевская, придворные; дочь короля, жена испанского принца, присылала отцу слезные письма, требуя надела своему мужу в Италии на счет Австрии, – и Людовик XV объявил себя за войну; Флэри уступил.

Но что скажут на другом, противоположном, восточном краю Европы, в России? Фридрих II пред началом своей деятельности сделал смотр всем державам Европы, их средствам, чтоб уяснить себе, против кого можно успешно действовать и где искать помощи. Разумеется, он не мог забыть о России: он подходил с разных сторон к этой новорожденной загадочной империи, всматривался внимательно и заботливо, то успокаивал себя, то вдруг тревожился. Россия, казалось Фридриху в 1740 году, не имела достаточно значения в европейской политике, чтоб дать перевес той стороне, за которую она стояла. Влияние этой новой империи не простиралось далее Швеции и Польши. Петр I, чтоб цивилизовать свой народ, работал над ним как крепкая водка над железом, был и законодателем и основателем обширной империи; он создал людей, солдат, министров, основал Петербург, завел значительный флот и заставил всю Европу уважать свой народ и свои удивительные таланты.

«В 1740 году Россия могла выставить в поле без усилия 170000 войска; флот ее состоял из 12 линейных кораблей, 26 кораблей низшего разряда и 40 галер. Доходы империи простирались до 15 миллионов талеров – сумма умеренная в сравнении с громадным пространством страны; но в России все дешево. Самая необходимая для государей жизненная потребность – солдаты – не стоит здесь и половины того, что тратят на их содержание другие государства Европы. Петр I составил проект, какого не составлял ни один государь до него. Завоеватели стараются только о том, чтоб распространить свои владения, а Петр хотел сократить пространство своего государства, потому что последнее было дурно населено в сравнении с обширностью. Он хотел сосредоточить 12 миллионов жителей, расселенных по империи, между Петербургом, Москвою, Казанью и Украиною, чтоб это пространство было хорошо населено и обработано; остальные же области представляли бы пустыню, превосходную защиту от персиян, турок и татар. Смерть помешала великому человеку привести в исполнение этот план. После несчастий Карла XII и утверждения Августа Саксонского в Польше, после побед Миниха над турками Россия держала в своих руках судьбы Севера; русские были так страшны, что никто не мог ждать успеха в нападении на них, ибо, чтоб достигнуть до них, нужно пройти пустыни и можно было все потерять, если бы даже ограничиться оборонительною войною в случае их нападения. У них в войске множество татар, козаков и калмыков; эти кочевые орды хищников и зажигателей способны опустошить сильные, цветущие провинции, прежде чем регулярное русское войско вступит в них. Для избежания этих опустошений соседи уклоняются от столкновений с Россиею, а русские смотрят на союзы, заключенные ими с другими народами, как на покровительство, которым они достаивают своих клиентов».

Фридрих как будто предчувствовал удовольствие, какое должны были впоследствии доставить ему татары, козаки и калмыки. Россия миролюбива, обращает внимание только на ближайших соседей; но именно для ближайших целей она определила взгляды свои и на отношения к другим государствам. Так, она держалась австрийского союза по одинаковости интересов относительно Турции и Польши и отвергала союз французский. В интересах России не допускать крайнего ослабления Австрии и преобладания Франции при союзах последней с Турциею и Швециею. Это хорошо понимали в Западной Европе и принимали свои меры: Франция держала наготове Швецию, чтобы при первой надобности спустить ее на Россию и таким образом отвести последнюю от подания помощи Австрии; прусский король спешит сблизиться с Россиею, предлагает ей оборонительный союз, зная, что у нее такой же союз с Австрией. Только смерть помешала императрице Анне подписать союзный договор с Пруссиею: враждебные отношения Швеции заставляли искать ближайшего к прибалтийским областям союзника; кроме того, на союзе настаивал Бирон, ибо в союзном договоре Пруссия гарантировала

Курляндию. По смерти Анны Бирон – регент; он свержен, но первым министром становится фельдмаршал Миних, который не терпит Австрии за последний мир с Турцией. Миних явно выставляет себя другом Пруссии, требует союза с нею; Остерман представляет необходимость уже по существующим обязательствам охранять Австрию, на которую новый предлагаемый союзник намерен напасть, – и тогда в каком положении найдется Россия? Анна Леопольдовна пишет письмо Фридриху II, говорит о слухах, что прусские войска идут в Силезию, уверяет прусского короля в своей дружбе, но выражает сильное желание, чтоб Фридрих удержался от возбуждения военного пламени в большей части Европы.

11 декабря его высокографское сиятельство, господин кабинетный первый министр, генерал-фельдмаршал граф фон Миних послал объявить другим членам Кабинета, что он в заключении прусского трактата никакого особенного затруднения не находит, только одно сомнительно: прусским министром сообщено, что король его с войском прямо пошел в Силезию, и поэтому еще надобно посоветоваться сообща, следует ли заключать с ним договор или нет? Вице-канцлер граф Головкин подал мнение, что Россия по существующим обязательствам с венским двором должна его защищать, и потому надобно повременить заключением прусского трактата, пока усмотрится, какое участие морские державы примут в защите Австрии и сама она чем будет отвечать на такое наглое нападение: может быть, венский двор с прусским полюбовно разделается, заплатив некоторую сумму денег? В донесении наших министров при иностранных дворах, особенно при венском, мы усмотрим, надобно ли нам за Австрию вступаться; но при этом не надобно спешить предложением действительной помощи, а дожидаться, будут ли морские державы действительными силами вступаться за венский двор или будут употреблять только добрые услуги. Здежнему министерству надобно принять в рассуждение нынешнюю систему в Европе, как недавно голландцы по смерти цесаря сделали, и, взяв за основание состояние здешнего государства (которое хотя и плохо вследствие тяжких войн, однако ныне случай есть совершенно его поправить), постановить между собою правила, каким образом по здежнему состоянию поступать с другими державами; составивши такой план, легко будет здежнему министерству и говорить с пребывающими здесь иностранными министрами, и содействовать интересам их дворов. Если венский двор станет требовать помощи по союзному договору, то отговариваться, что государство истомлено польскою и турецкою войнами и потому не может подать скорой помощи, а между тем надобно смотреть, что будут делать морские державы. Если прусский министр станет неотступно домогаться заключения союзного договора, то не удобнее ли будет весь этот договор с сепаратными артикулами показать австрийскому резиденту Гогенгольеру, и когда он объявит, что в нем нет ничего противного его двору, то договор и можно будет заключить.

Хотели дожидаться донесений русских министров при иностранных дворах, особенно из Вены. Ланчинский в начале 1741 года доносил о морских державах, что Голландия являет склонность помочь Марии Терезии, но притом желает, чтоб какая-нибудь другая держава прежде нее оказала эту помощь; притом находит трудность, что полки посылать далеко. Английский король показывает себя склоннее прежнего; но так как прошел слух, что с прусской стороны сделаны Марии Терезии выгодные предложения, то английский король прежде всего желает их сообщения; при этом советует полюбовно помириться, но без малейшего нарушения прагматической санкции, иначе какая-нибудь держава откажется от гарантии этой санкции под предлогом, что сама наследница Карла VI нарушила ее и таким образом освободила других от гарантии. У прусского короля в Силезии до 50000 войска да еще ожидается 20000, и потому страна может быть спасена только диверсией с русской стороны, чего усиленно домогаются в Вене, ибо мирное посредничество России не помогает. Фридрих II, прочтя грамоту русского министра, только поморщился, но от своих поисков не унялся. Франция молчит в Вене и интригует в Германии, располагает курфюрстами Баварским, Кельнским и Пфальцским, обещает Баварскому провозгласить его швабским королем и добыть ему часть австрий-

ского наследства; курфюрсты Майнцский и Трирский по слабости ничего не могут сделать, и, таким образом, Франция грозит всемирною бурбонскою монархией.

В Петербурге хотели воспользоваться затруднительным положением Марии Терезии и заставить признать императорский титул русских государей. Но австрийские министры и тут не сдались: государственный секретарь барон Бартенштейн сказал Ланчинскому, что надобно подождать. «Знаете, – сказал он, – сколько явных врагов и тайных недоброжелателей у нас в империи, особенно при предстоящем императорском избрании, самые маловажные обстоятельства толкуют злостно, а за такой поступок стали бы сильно кричать и подняли гонение». Петербургский двор требовал также, чтоб в переписке между обоими Дворами употреблялся не латинский, а немецкий язык, понятный правительнице и мужу ее. На это министры отвечали, что Венгрия есть первенствующее королевство в державе Марии Терезии, а короли венгерские исстари употребляли латинский язык. Ланчинский возражал, что латинский язык принадлежит римским цесарям, а Мария Терезия есть немецкая государыня, и Венгрия принадлежит ей как эрцгерцогине австрийской; но министры упорно стояли при своем, указывая, что французский посол не принял первой известительной грамоты о восшествии Марии Терезии на престол, потому что грамота была не на латинском языке. Министры жаловались: «У нас сильные враги и могущественные друзья; только первые на нас нападают действительно, а дружеская помощь еще далеко, тогда как без нее после двух несчастных, разорительных войн здешнему дому не устоять; один на другого ссылаются: английский король указывает на союз, который надеется заключить с петербургским двором. Итак, единственная надежда остается на Россию, которая должна сделать почин и ободрить приятелей наших».

На эти донесения в Петербурге отвечали: «Целый свет не может довольно надивиться слабому оборонительному состоянию венского двора; надобно было ожидать, что в таком крайнем случае употребятся и крайние меры. Всю тягость войны навалить на союзников невозможно. Королева венгро-богемская – главнейшая интересованная партия: от нее и главнейшие действия ожидаются, которым союзники должны помогать. Такие большею частию ответы получаем от всех дворов, где мы по верному нашему доброжелательству в пользу ее величества стараемся. Вы можете внушать, что ничто другие державы не может так склонить к подаванию скорейшей помощи, как прямые и сильные действия с королевичной стороны. На жалобы австрийских вельмож, что Россия оставляет их без помощи, можете отвечать, что если кому жаловаться, то нам; но, избегая неприятных объяснений, мы все предаем забвению. О Франции и сумнительных ее поступках мы уже давно с венским двором в конфиденции изъяснились; но жаль, что все наши изъяснения были мало уважены, и следствия этого теперь ясны. Швеция одною Франциею против нас двигается; старанием Франции заключен против нас оборонительный союз между Швециею и Турциею; король прусский в надежде на Францию так смело и отважно поступает, ибо Франция одною миною и декларациею могла его удержать; курфюрста Баварского Франция содержит и явно прочит его в императоры, без сомнения желая доставить ему притом и значительную часть австрийского наследства, ибо без этого императорское достоинство было бы ему тяжело; курфюрстов Кельнского и Пфальцского Франция утверждает в их противных положениях; Англия и Голландия должны смотреть на Францию, боясь от нее нападения, если станут помогать Австрии; сколько Франция помогла в бывших с Портою несогласиях и в нынешнем последнем случае, о том в Вене известно и в том состоят все плоды, которые мы все до сего времени от Франции имеем, и можно видеть, что она теперь ищет во всем свете зажечь военный огонь, а потом уже будет приводить в исполнение свои дальновидные намерения с наибольшею силою и с наименьшею тягостью и опасностью. Хотя жаль, что мы, отдавая сами себя и свои интересы в руки Франции, привели эту державу в такое опасное для нас состояние: однако дело уже сделано, и ничего другого не остается, кроме принятия сильных мер».

Между тем в апреле ожидали в Вену патриарха Пекского и администратора митрополии всего сербского и славянского народа: патриарх должен был приехать на поклон к новой королеве Марии Терезии, и Ланчинский имел указ из Петербурга, чтоб патриарх в своей капелле отслужил благодарственный молебен о здравии императора Иоанна, его родителей и цесаревны Елисаветы Петровны по приложенной печатной форме. Ланчинский доносил, что указ исполнен с большим торжеством: он, посланник, ездил на патриаршую квартиру шестернею; сначала была литургия с достодолжным поминовением по форме, потом сам патриарх, надев богатое облачение и драгоценную митру – дар государей русских, служил молебен с четырьмя архиереями – петервардейским, кроатским и двумя, выехавшими из турецкой Сербии; после молебна председатель патриаршей консистории говорил проповедь, приличную настоящему торжеству. За такой *гонор* Ланчинский угостил патриарха рыбным столом и после обеда проповеднику подарил на весь клир 50 червонных, «и все обошлось к прославлению имени императорского величества».

Когда в том же апреле Ланчинский донес своему двору, что в Вене обрадованы готовностью Англии и Голландии помогать венгерской королеве, то получил ответ: «С сожалением мы видим, что до сего времени все дворы, гарантировавшие прагматическую санкцию ограничиваются одними представлениями прусскому королю, а к самому делу или хотя к надежному уговору и плану важных действий в случае недействительности представлений еще никто не приступает. Все желают, чтоб мы наперед начали действительное нападение на Пруссию, ясно в том намерении, чтоб нас только затянуть, а сами наперед будут смотреть, как наши дела пойдут, и тогда уж станут свои меры принимать. Но таким поведением они будут только дела тянуть, на нас свалили всю тягость, тогда как мы одни достаточную силу для поправления дела употребить не в состоянии: ожидаем ежедневно шведского нападения; следовательно, наше вмешательство в войну повело бы только к тому, что противная сторона с большею силою наступила бы на австрийские земли; и так как тамошний двор не в состоянии обороняться, то отворились бы ворота и другим к нападению на владения Марии Терезии и низложению Австрийского дома, несмотря на наши действия, и потом, соединя свои силы с шведскими, враждебные державы станут действовать и против нас. Мы сами от души сожалеем, что шведские движения, происходящие по французским внушениям и за французские деньги, побуждают нас к сильному вооружению и препятствуют употребить все наши войска в пользу общего дела. Вы можете о всем этом сообщить в конфиденции при удобном случае, в надежном месте».

На эти конфиденции австрийские министры отвечали печальными минами, пожатием плеч и замечанием, что в Швеции еще не решена война с Россиею. Тогда велено было Ланчинскому изложить подробнее поведение России со смерти императора Карла VI: «Тотчас по смерти цесарской, предусматривая все печальные следствия, какие должно иметь во всей Европе это горестное событие, мы обратились ко всем державам, заинтересованным в вольности и равновесии Европы, с увещаниям принять заблаговременно нужные и серьезные меры для поддержания прагматической санкции, представляя свою готовность к общему соглашению; а как скоро узнали о намерении прусского короля вступить в Силезию, то, не дожидаясь никакого требования от венского двора, тотчас написали об этом прусскому королю в наисильнейших выражениях и, не довольствуясь этим, всем прочим державам живыми красками представили важность прусского предприятия, склоняя их к наискорейшему соглашению для общего с нами действия. Мы же, сверх того, тотчас сделали распоряжение, чтоб из разбросанного по всему государству войска собран был значительный корпус. Все это было сделано нами, пока еще не открыты были шведские движения, пока еще мы, подобно другим, не могли думать, что Франция намерена привести Швецию в состояние действительно начать с нами войну. Каким образом во всех этих делах со стороны других поступлено: о медленности, о заботливости каждой державы только о своих частных выгодах здесь распространяться не для чего; но верно одно, что от этого Франция получила свободное время и способы привести свои даль-

новидные и нами давно предусмотренные намерения к такой зрелости, что ныне явно со всех сторон может снять маску. Мы первые почувствовали ее злобу за наше постоянное союзническое усердие к австрийскому дому; мы ежедневно должны ожидать неприятельского нападения со стороны Швеции, которая кроме флота и галер уже придвинула к нашим границам 30000 войска; от этого нападения ничто на свете отвратить ее не может, кроме готовности с нашей стороны встретить ее с превосходными силами. Война должна быть самая серьезная, потому что шведский флот будет усилен французскими кораблями, а сухопутная, армия будет удвоена вследствие решения шведского крестьянского сословия. Напрасно в некоторых местах себя льстят, что эта шведская война еще не так близка: мы здесь, находясь меньше чем в 150 верстах от шведской границы, лучше о том рассуждать можем». Так как Франция показывала явно свое недоброжелательство и к королеве венгерской, то Ланчинский должен был представлять министрам Марии Терезии о необходимости скорейшего примирения с Пруссией, хотя бы и с пожертвованием чего-нибудь, потому что «при продолжении войны о крепчайшем короля прусского соединении с Швецией сомневаться не надлежит».

Сильно стал домогаться Ланчинский примирения Марии Терезии с Фридрихом II, когда получил из Парижа от Кантемира известие, что сорокатысячное французское войско готово к переходу чрез Рейн для соединения с курфюрстом Баварским и для нападения вместе с ним на Богемию; он представлял австрийским министрам о неотлагаемой нужде привлечь в общий союз короля прусского, который так силен, что великий вес придаст поддерживаемой им стороне; представлял, что надобно спешить этим делом, чтоб быть в состоянии сопротивляться Франции, Испании и Баварии, которые хотят разгромить австрийский дом. Министры признавали необходимость примирения с Пруссией, но спрашивали, как этого достигнуть, когда Фридрих II так возвысил свои требования, что без отдачи в вечное владение всей Нижней Силезии с Бреславлем не мирится; жаловались на Англию: в Ганновере заключена была конвенция об обновлении прежних договоров; но что ганноверские министры с трудом построили, то английские вдруг разорили; король обещал прислать на помощь королеве 6000 гессен-кассельцев и столько же датчан и не исполнил обещания, а если б исполнил, то теперь прусского войска уже давно не было б в Силезии; теперь Англия требует, что для общего блага надобно что-нибудь уступить Фридриху II из Силезии. Польский король не отказывался начать военные действия с определенного в английской конвенции времени; но Англия его удержала, следовательно, то государство, которое должно было подать пример другим союзникам и поручителям, остановило доброе намерение всех; а Франция поднимает войну против королевы под предлогом, что королева вступила в тайные обязательства с Англией. Королева не может исполнить требование Англии, т.е. уступить Фридриху II что-нибудь из Силезии, ибо это было бы противно интересам короля Польского как курфюрста: Саксония стоит коммерциею и мануфактурами, а король Прусский, как скоро получит часть Силезии, тотчас причинит немалый вред саксонской торговле и промышленности.

«Здесьнее смущение велико, – писал Ланчинский, – с горя говорят, что если поручители за прагматическую санкцию оставят королеву без помощи, то принуждена будет разделяться с тою стороною, где будет меньше потери, потому что утопающий и за бритву хватается; потом всякий свою очередь иметь будет, особенно Ганновер, а нам против Пруссии, Франции, Испании и Баварии одним стоять нельзя и ждать, чтоб баварец, вступив в Богемию, короновался там. Министры говорят, что если б французская война против королевы была так же неверна, как и нападение шведов на Россию, то здешний двор в утешении своем от прусского короля имел бы отраду».

Двор и министры иностранные находились все это время в Пресбурге. Когда в сентябре Ланчинский известил Марию Терезию, что Швеция объявила войну России, то королева отвечала: «Верю и надеюсь, что бог постыдит неприятеля, несправедливо нападающего». Потом, пожав плечами, продолжала: «Я сама нахожусь в таком же положении и без средств к сопро-

тивлению; на меня нападают со всех сторон, и неприятель уже проник в сердце моих владений и грозит крайнею погибелью, а помощи ниоткуда не ожидаю. Однако у России собрано более 100000 войска, могла бы и мне сколько-нибудь на помощь уделить; шведы все русские силы на сухом пути занять не в состоянии, а действовать морем уже время прошло. Королю Прусскому Нижняя Силезия уже предложена, но недоволен: требует Верхней, и притом хочет оставаться нейтральным. Баварцы уже взяли Линц, Вене грозит осада: я остаюсь здесь, надеясь на верность моих венгерцев. Буду принимать крайние меры, предавшись на волю божию. Донесите, что я больше всего надеялась и еще надеюсь на близкое родство и союз вашего государя».

Мы видели, что в конце 1740 года в Петербурге хотели подождать и заключением союзного договора с Пруссией, и вспоможением Австрии. Пруссский министр Подевилльс писал своему королю: «Россия, без сомнения, заступится за Австрию, сделает диверсию в Пруссию; 40 эскадронов будут ли в состоянии прикрыть страну? не надобно ли прибавить к ним пехоты?» «Рiано», – отвечал король: он уже распорядился, чтоб никакой диверсии не было. Фридрих прислал в Петербург хлопотать о союзе родственника Минихова Винтерфельда, подарил жене Миниха перстень в 6000 рублей, сыну 15000 талеров и имение в Бранденбурге; прусская королева прислала Юлии Менгден портрет свой, осыпанный бриллиантами. Но понятно, что враги Миниха, которые под ним подкапывались, обвиняли его в приверженности к Фридриху II, вредной для России и для Европы; это обвинение было очень важно в глазах принца Антона и его жены, которые были за Австрию. Между правительницею и первым министром были сильные столкновения из-за Пруссии и Австрии. «Вы всегда за прусского короля! – сказала с сердцем Анна Леопольдовна Миниху. – Я уверена, что как только мы двинем войска, то прусский король отзовет свои из Силезии». В феврале 1741 года английский посланник Финч имел разговор с принцем Антоном, который сказал ему, что прусский король употребляет в свою пользу сильные средства: предложил правительнице наследство Мекленбурга после отца и дяди ее, ему, принцу, – Курляндию, но что эти предложения не произвели на них никакого впечатления; но Миних совершенно на стороне Пруссии. Пруссский посланник Мардефельд предлагал 100000 крон Геннингеру, бывшему учителю правительницы, думая, что он имеет сильное влияние на ученицу; но тот отказался и тотчас объявил правительнице об этом предложении. Несмотря на то, Миних осилил: союз с Пруссией был заключен.

От 20 января Бракель доносил из Берлина, что король изъявил ему свое удовольствие о заключении договора между Россиею и Пруссией и обнадежил, что если шведы предпримут что-нибудь против России, то он, несмотря на силезскую войну, как верный и истинный союзник, будет помогать России. Относительно Курляндии Фридрих II обещал действовать заодно с Россиею и поддерживать ее требование в Польше и при саксонском дворе; обещал ходатайствовать на имперском сейме, чтоб Священная Римская империя признала другую империю. Всероссийскую, признав за русским государем императорский титул. Но заключение оборонительного союза с Пруссией ставило русское правительство в затруднительное положение: у него существовал издавна такой же союз с Австриею, на которую напал Фридрих II и которую, следовательно, она должна была защищать от него; Россия должна была делать новому союзнику неприятное для него представление, чтоб он удержался от нападения на другого ее союзника. Браклю послан был 28 февраля рескрипт: «Можете вы его королевскому величеству о нашем истинном высокопочитании к дружбе оного засвидетельствовать и обнадежить, что представления, кои мы ему о наступлении на герцогство Шлезинское учинить необходимо принуждены были, подлинно от верного, сущего и благого сердца произошли и нам ничего радостнее не было б, как чтоб его королевское величество склонным уступлением усильному нашему прошению нас в состояние привести изволил, ему при всех случаях в действе самом показать, коль высоко мы дружбу оного почитаем и коль зело мы в других случаях интересы оного по лучшей возможности поспешествовать склонны будем». В другом циркулярном рескрипте излагались побуждения, заставившие заключить союз с Пруссией: «Ныне владеющее его королев-

ское величество прусское тотчас по преставлении короля отца своего о возобновлении между обоими дворами оборонительного союза желание свое объявил и у вселюбезнейшей государыни бабки нашей помогаться велел, на которое возобновление от ее величества со всякою склонностию поступлено и еще при жизни ее совсем на мере поставлено, но за приключившимся вскоре преставлением ее величества совершенно заключено быть не могло. Его королевское величество потом и у нас сие свое желание повторить повелел, и мы на такое возобновление столь вящею готовностью поступили, понеже: 1) весьма непристойно было одной державе, которая нашей дружбы и союза искала, в том в самом начале нашего государствования отказать; 2) сей союз просто оборонительный и никому к предосуждению не касается; 3) собственное наше истинное желание есть с королем прусским и бранденбургским домом ненарушимую добрую дружбу содержать; да сверх того, 4) справедливо уповать имели, что чрез возобновление сего союза при нынешних случаях в Европе генеральный покой еще столь наипаче утвердиться может. И хотя при самом совершении сего дела ведомость получена, коим образом король прусский намерение взял военною рукою в Шлезию вступить, о чем до того времени ни малейшее известие не имелось, однако ж и затем заключение одного остановить тем наипаче не заблагорассудили, понеже сей союз прежним с другими державами нашим обязательствам ни в чем силу не отнимает и мы еще надеяться могли, что наши доброжелательные королю прусскому чинимые представления для отвращения одного от такого дальновидного намерения чрез то тем вяще действительны быть могут, когда его величество усмотрит, что мы в прочем в совершенном добром согласии и соединении с ним быть истинно желаем».

От того ж числа был отправлен Браклю другой рескрипт, в котором говорилось: «О нашем с королем прусским возобновленном трактате мы уведомились, что об оном не токмо разным чужестранным министрам в Берлине открыто, но и многим дворам формальные нотификации о том учинены, и понеже сие сообщение не иначе как вообще и с здешним позволением учиниться надлежит, то мы желали же бы, что с королевско-прусской стороны по тому ж бы поступлено было, тем наипаче, ибо сие возобновление воспоследовало, когда здесь о учиненном вступлении в Шлезию еще никакой ведомости не было и сия с прусской стороны учиненная нотификация всякие непристойные толкования во многих местах произвела, хотя нашего намерения никогда не было чрез сей трактат нашим напред сего с другими державами имеющим обязательствам наималейший ущерб приключить». Сам Миних не признавал возможным, чтоб Россия отказалась от своих обязательств относительно Австрии; Остерман, со слезами на глазах и вспоминая, что он природный пруссак, уверял прусского посланника Мардефельда, что Фридрих навлечет на себя и на Европу величайшие опасности, если будет настаивать на свои требования относительно Австрии; что русские интересы требуют непременно, чтоб Силезия оставалась за Австриею, и что венгерская королева (Мария Терезия) скорее уступит Нидерланды Франции, чем Силезию Пруссии. Таким образом, союз с двумя враждебными между собою государствами заставлял Россию в Берлине хлопотать, чтоб Фридрих II умерил свои требования, а в Вене, чтоб Мария Терезия уступила что-нибудь прусскому королю. Россия поневоле должна была принимать роль посредницы.

Фридрих II не отвергал посредничества России и Англии в примирении его с Австриею; но на каких условиях он хотел мириться, это видно из письма его к Миниху от 30 января по поводу заключения союза с Россиею: «Прежде я был бессоюзен и действовал, не открываясь никому; теперь у меня есть союзники, и я хочу уведомить их о всех моих намерениях, чтоб действовать с ними заодно». Описав свои успехи в Силезии и выставив, что только одна умеренность воспрепятствовала ему преследовать австрийские войска до самой Вены, Фридрих продолжает: «У меня нет намерения уничтожить австрийский дом, я хочу просто поддержать мои неоспоримые права на часть Силезии. Я надеюсь, что если венский двор обратит внимание на ваши советы и посредничество, то он признает мои права и даст мне возможность употребить в его пользу то самое оружие, которое он принудит меня обратить против него, если

не признает моих прав. Вы видите, что я открываю вам свое сердце со всевозможною искренностью. Так я буду поступать всегда в отношении к вам». Миних платил королю такую же искренностью. Мардефельд писал, что Миних просит короля никак не доверять саксонскому двору; что в том же смысле говорил и герцог Брауншвейгский, давая знать, что в Дрездене идет дело о разделе Пруссии. Мардефельд утешал известием, что когда саксонский посланник граф Линар сообщил русскому министерству план раздела Пруссии, то ему отвечали, что это негодный проект, такие бумаги можно только в огонь бросить. Но вслед за тем тот же Мардефельд писал, что посланники австрийский (Ботта), английский (Финч) и саксонский (Линар) представили русскому министерству следующие вопросы: находит ли Россия желательным уничтожение австрийского дома? согласно ли с русскими интересами усиление могущества Пруссии? может ли Россия допустить, чтоб Пруссия покорением Силезии отрезала у нее всякое сообщение с Германиею и пограничными странами? не должно ли противодействовать этому в удобное время и надлежащими силами? не будет ли потому лучшим средством отделить от прусских владений хорошую долю, чтоб поставить Пруссию в уровень с ее соседями? Мардефельд доносил, что Остерман взялся склонить герцога Брауншвейгского к принятию этого предложения и уже курьер готов был отправиться в Дрезден с предписанием русскому посланнику при тамошнем дворе Кейзерлингу приступить к австро-саксонскому плану, но Миних отказался подписать рескрипт Кейзерлингу, грозясь сложить с себя все должности. Вслед за тем Мардефельд доносил о сильных колебаниях при петербургском дворе, о борьбе между Остерманом и Минихом, о возрастающем влиянии австрийского посланника маркиза Ботты; писал, что он отказался от обмена ратификации прусско-русского союза, ибо в русском экземпляре нашел двусмысленные выражения, вследствие чего разгорелась еще большая вражда в Кабинете, кончившаяся тем, что Миних потребовал отставки и получил ее.

Миних потерял место первого министра; Остерман, верный началу политического равновесия, твердит, что необходима осторожность с таким предприимчивым государем, как прусский король, и что малейшее раздробление австрийских владений нанесет удар Европе. Но Остерман занят внутренними делами, непрочностью своего положения, движениями Швеции, а между тем Бракель явно держит сторону Пруссии, настаивает, что не следует вмешиваться в войну и помогать Австрии, что от невмешательства других держав война скорее прекратится. От 25 апреля Бракель писал:

«Я совершенно удостоверен, что король прусский поныне еще ни в какие обязательства с Франциею и шведами не вступал и никак на это не решится без самой крайней нужды; а между тем несомненно и то, что никакими представлениями и переговорами нельзя его склонить к очищению Силезии. Поэтому очень сомнительно, успеют ли силою в своем намерении державы, поручившиеся за прагматическую санкцию, т.е. успеют ли восстановить опять тишину и соблюдут ли целостность австрийских владений без малейшего ущерба. Венгерская королева имеет достаточные силы сравнительно с здешними, а в способах к ведению войны превосходит Пруссию, так что с одним Фридрихом II она может управиться. Пока Австрия и Пруссия одни ведут между собою войну, до тех пор пути к скорому примирению отворены и обе воюющие стороны сами утомиться могут; если же вся Европа приведена будет в движение, то легко произойдет тридцатилетняя война, по окончании которой римляне (католики) будут иметь пользу и удовольствие, потому что протестанты или совершенно искоренят друг друга, или по крайней мере обессилеют». Потом, донося, что Франция предлагает Пруссии 60000 вспомогательного войска, Бракель настаивает, что державы, которым усиление Франции может быть опасно, должны обратить все свои силы только против этой державы. Когда в Петербург стали приходить слухи, что прусский король входит в тесную связь с Швециею, то Бракель писал: «Не могу понять, на чем некоторые иностранные министры, находящиеся в Силезии, основывают свои утверждения, будто прусский король вступил в обязательство с Швециею? По крайней мере надобно великому государю или министерству его верить до тех пор, пока противное их уверениям не

окажется беспрекословным; но король сам объявляет, что у него свободные руки, ни в какие обязательства еще не вступил, поэтому не вижу, для чего бы он стал вредить собственному интересу, отнимая у всех возможность верить себе? Если бы венский двор согласился на мир, то здешний двор охотно исполнил бы все обязательства свои против Швеции и Франции и на самом деле опроверг все подозрения».

Из Петербурга писали Браклю: «Прусские представления, как делаемые вам в Берлине, так и здесь, чрез посла Мардефельда, сопровождаются всегда такими внушениями, которые отзываются угрозами; объявляют, что при первом движении с нашей стороны Пруссия будет принуждена употребить другие меры, вступить в союз с другими державами. Мы думаем, что такие угрозы делаются очень не вовремя; всего менее мы могли их заслужить, потому что дружба России была очень полезна бранденбургскому дому: в недавнее время разве не Россия доставила ему Штетин и Померанию, хотя Пруссия ее за это покинула и заключила с Швециею отдельный мир; можно без похвальбы сказать, что Россия немало способствовала нынешней силе и значению королевско-прусского двора и, разумеется, имеет полное право желать взаимности. Здесь поступается с доброю верою, и верностью, и с наилучшим намерением; и хотя мы нынешнего прусского предприятия не одобряем или одобрять не можем и об этом свое мнение королю чистосердечно даем знать, однако наше поведение не заслуживает таких ненавистных угрожительных изъяснений; принятие благонамеренных представлений, кажется, было бы полезнее. Безумный поступок шведского министерства приписывается прусским предложениям, и подлинно известно, что Пруссия всюду делает различные внушения против нас». В Чем же состоял безумный поступок шведского министерства?

1 января Мих. Петр. Бестужев-Рюмин писал из Стокгольма, что ездил видаться с известным приятелем, которого нашел в большом смущении и печали: приятель объявил, что начало сейма не таково, как надеялись; в секретной комиссии, в двух чинах, дворянском и городском, большинство принадлежит противной стороне, и потому надобно стараться получить большинство в городском чине: так как там уже есть на нашей стороне человек шесть, то к ним надобно закупить персон восемь или десять, для чего надобно денег. Бестужев отвечал, что ему, приятелю, известно самому, с какою охотою император принимал все их предложения, не жалел ни труда, ни денег, и теперь он, Бестужев, готов сделать все, что может содействовать достижению известной цели, только бы русские деньги не понапрасну были истрачены, ибо что касается подкупа бюргеров, то бюргеры люди непостоянные, много обещают, и деньги берут от обеих сторон, и только обманывают, как на прошлом сейме случилось: мелкими суммами давать им денег вперед не следует, ибо они деньги возьмут и потом обманут, а надобно обещать каждому, смотря по человеку, известную сумму и накрепко их обнадежить, что, если они при справедливом деле непоколебимо с нами до конца останутся, тогда каждый обещанную сумму получит, а для уверения их показать им такое место, откуда они непременно деньги получают. Приятель согласился, но когда он стал советоваться с своими друзьями, те объявили, что с бюргерами не нужно вступать в дело, потому что в секретной комиссии все они из мелких городов и люди пустые, положиться на них нельзя; но лучше держаться дворянского чина, из которого в комиссии пятнадцать надежных людей, и если к ним закупить еще двенадцать или пятнадцать человек, то большинство будет на нашей стороне.

В Петербурге были недовольны Бестужевым, который сначала представлял дела в более благоприятном виде, чем как они впоследствии оказались. Бестужев объяснял неблагоприятный оборот смертью императрицы Анны, что потревожило друзей России и ободрило противную партию, которая поспешила воспользоваться случаем, разглашая всевозможные лжи. Бестужев писал, что присланные к нему десять тысяч червонных все употреблены и хотя на эти деньги желаемого большинства не получено, однако все же приобретена та выгода, что не допущено до примирения русской партии с противною, чего он, Бестужев, немало опасался, ибо противная партия сильно искала этого примирения при помощи французского посла; сам

король как известному приятелю, так и другим друзьям России предлагал о примирении; но деньги и обещания поддержки в будущем не допустили до примирения, что и надобно продолжать, ибо главный русский интерес состоит в том, чтоб в шведском народе было всегда разделение. Король отдался в руки Гилленборгу, хотя и не от чистого сердца, но это все равно, ибо делает по его, а это вредит русским намерениям.

В феврале приятели объявили, что обещаниями ничего нельзя сделать, надобно немедленно употребить деньги для составления большинства в секретной комиссии. Бестужев дал деньги, но секретарь английского посольства объявил, что не даст денег до тех пор, пока при каком-нибудь важном решении большинство не окажется против министерства. Англичанин был прав: русские деньги пропали, потому что в том же феврале секретная комиссия оказалась враждебною России, вследствие чего пошли опять толки о войне и молодые офицеры стали говорить об ней как о деле решенном. Бестужев писал: «Когда здешнее министерство усмотрит, что Россия решилась помогать королеве венгерской, то вступит с королем прусским во всякие интриги и коварства против России. От шведского короля ни доброго, ни худого ожидать не следует: как бы дела ни пошли, та или другая партия одолеет – ему все равно, лишь бы его величество с известною дамой в покое время свое проводить мог. Дела ныне находятся в кризисе; между обеими партиями разгорелась такая сильная вражда, что в последнем заседании в ритергаузе едва не дошло до кровопролития».

26 февраля в полночь один надежный приятель, первый секретарь канцелярии по иностранным делам барон Гильденштерн, вышел из дома русского посла вместе с мекленбургским концлейратом Кеппенем и вдруг был схвачен пятью людьми, а Кеппен возвратился рассказывать Бестужеву об этом событии. Посланника схватила лихорадка и начался лом в ногу при этом известии: схваченный приятель был, по его мнению, человек самый добрый и честный, любимец всей доброй партии, происходил от одной из самых знатных фамилий, находился в родстве с графом Горном. Посланнику было очень чувствительно то, что пресекался источник известий, которым он пользовался в последние три года; схваченному будет поставлено в вину, зачем он при таких обстоятельствах был тайком у русского посланника; другие друзья сильно встревожатся и перестанут водиться с Бестужевым; Кеппен находится в опасности, потому что его считают шпионом русского посланника. У Гильденштерна нашли письмо от старика Горна, в котором тот благодарил его за точную корреспонденцию и давал знать, что все письма его сожжены. Вместе с захватом Гильденштерна произведено было несколько других арестов, которые навели ужас на партию мира. Бестужев писал от 5 марта: «Секретная комиссия вместе с министерством так деспотически поступают, что и в самодержавных государствах такого примера не бывало. Слышу, что несчастный Гильденштерн многих из нашей партии оклеветал; увидим, что дальше будет; только это злое министерство и его клики так жестоко здесь в городе простой народ против России и меня восстановили и озлобили, что сказать нельзя; а я с печали духом и телом болен; подагра возобновилась. Однако ездил я ко двору на обыкновенное собрание и более двух часов пробыл там бодро и смело. Мне дали знать, что на прошлой неделе в секретной комиссии решен вопрос о войне; надобно быть во всякой осторожности и готовности, ибо теперь всякого зла от них ожидать надобно. Друзей наших всегда такое мнение было, что если ни труды, ни деньги, ни терпенье, ни умеренность не помогут, то надобно смирить оружием, отнять Финляндию, что может быть окончено в одну кампанию; жители финляндские так шведским правительством скучают, что с охотою поддадутся России. Замечательно, что посол французский иначе стал теперь поступать, чем прежде, и недаром у противной партии обнаружился такой военный жар. Мои служители едва смеют выходить из дому; надобно опасаться, чтоб и мне самому какого оскорбления не нанесли. Кеппену велено выехать в 24 часа из Стокгольма и в 8 дней из Швеции за то только, что из моего дома вместе с Гильденштерном вышел и у меня беспрестанно бывал. Слышу, будто хотят на меня у вашего величества жалобы приносить, что я канцелярских служителей подкупаю и разделение

в народе произвожу. Что касается подкупа, то, если б можно было, я подкупил бы весь их Сенат для интересов вашего величества; относительно же разделения в народе, хотя в девятилетнее мое здесь пребывание я сблизился со многими особами и мог бы ревностные услуги вашему величеству оказать, если бы дела пошли иначе, но при нынешних обстоятельствах я стал здесь очень непотребен, ибо друзья мои чрез третьего и четвертого человека меня просили не только самому с ними не видаться, но и людей моих к ним не присылать. Я не в состоянии что-либо проведать; уведомляю об одном, чтоб у нас были осторожны. Все важные бумаги мои я передал голландскому министру».

19 марта Бестужев писал: «Так как велено флот экипировать, то ясно, что Франция шведов на то подвигнула и денег дать обещала, ибо своими средствами шведы этого делать не в состоянии. Нет никакого сомнения, что Франция тут действует и коварство свое производит, дабы всегда содержать Россию в тревоге и опасении от здешней стороны и не дать ей возможности употребить свои силы в другом месте. Мы надеялись, что английские предложения субсидий произведут какую-нибудь перемену в делах, но вместо того секретарю английского посольства запрещено являться ко двору». 2 апреля Бестужев доносил: «Никакой швед ко мне в дом ходить не смеет, потому я здесь живу в таком положении, как будто Россия со Швециею действительно находилась в войне; бывшие в моей службе шведы меня оставили; простой народ всякими ежедневно вымышляемыми разглашениями возбуждается против России, а если бы кто эти лжи вздумал опровергать, то его сейчас называют изменником или русским, и последнее слово между простыми людьми считается бранным». Наконец, шведское правительство стало отказывать русскому государю в императорском титуле, утверждая, что этот титул давался всем предшественникам Иоанна III лично. Впрочем, апрель, май, половина июня прошли спокойно. Бестужев доносил, что, судя по приготовлениям, Швеция не может сделать против России ничего важного и вообще военные силы ее находятся в плохом состоянии. От 19 июня Бестужев писал: «Из всех здешних дел и поступков можно видеть, что граф Гилленбург хотя бы и хотел со мною объясниться или решить дело об императорском титуле, но не может, потому что все здешние военные движения и приготовления сделаны по побуждению французскому, Франция обещала заплатить за издержки, следовательно, министерство без позволения ее ничего сделать не может; притом же граф Гилленбург обещал войну здешним молодым людям и потому не может склониться на примирение с Россией в видах охранения своего кредита и своего положения. Наконец, министерство внушило народу, что Россия из страха пред войною отдаст Швеции по крайней мере Выборг». Бестужев прибавляет, что у шведов есть надежда на какую-то смуту в России. Русский агент Шевиус доносил о слухе между шведами, что в России будет бунт в пользу цесаревны Елисаветы, что фельдмаршал Леси с 60000 войска уже идет из Лифляндии к Петербургу, что к Леси, конечно, пристанет и большая часть гвардии, и тут-то для Швеции настанет желанное время ловить рыбу в мутной воде; говорили, будто цесаревна тайно отправилась из Петербурга в Москву, где будет дожидаться украинской армии и будет объявлена императрицею.

Потом стали говорить, будто шведский уполномоченный во Франции граф Тессин приехал в Швецию вместе с графом Морицом Саксонским, который с принцессою Елисаветою тайно сговорен, будто Елисавета уже в Финляндии, откуда вступит вместе с Морицом в Россию впереди шведской армии, а в России более половины войска на ее стороне. Вспомнили и о старом газетном слухе, пущенном при Анне для объяснения казни Долгоруких: толковали, что жених Елисаветы не Мориц, а Нарышкин, живущий во Франции. Шевиус ходил по стокгольмским кофейным и слышал там толки молодежи, что мир между Россией и Турциею непрочен; как скоро Швеция объявит России войну, то и Турция сделает то же самое и поляки не утерпят, сядут на коней; Пруссия не поможет России, потому что ее удержит Франция. Шведы боялись одного Миниха, признавая за ним большие военные способности; но и насчет Миниха ходили слухи, что он или умер, или под арестом, или сослан.

3 июля Бестужев дал знать, что «шведская горячность к войне» начала усиливаться. Сейм все еще тянулся; когда депутаты духовного и крестьянского чинов спрашивали, к чему делаются такие издержки на вооружение, то получали в ответ, что военные приготовления Швеции ничего не стоят и Франция Швецию никогда не оставит, что Швеция должна воспользоваться нынешними благоприятными обстоятельствами, и для этого она должна быть вооружена, и вооружается она на чужие деньги. От 21 июля Бестужев уведомил, что 17 числа в Сенате было рассуждение, теперь ли начинать войну с Россией или нет. «Поэтому, – писал Бестужев, – да соизволит ваше величество во всякой готовности и осторожности быть. Если сначала шведам не удастся и они будут побиты, то и война может этим кончиться, ибо всему свету известно, что шведы войны долго выдержать не могут. Мне необходимо выехать отсюда как можно скорее, ибо нельзя ждать каких-либо объяснений и примирения». 28 июля явился к Бестужеву надворный канцлер и объявил, что король с четырьмя государственными чинами усмотрел себя принужденным объявить войну царю российскому. Причины войны в манифесте были объявлены следующие: русский двор во многих случаях мало уважал народные права самые священные; не упоминая об оскорбительных угрозах, он нарушил 7-й параграф Ништадтского мира, вмешиваясь непозволительным образом во внутренние дела королевства для возбуждения смуты и для установления престолонаследия по своей воле вопреки правам чинов. Русский двор постоянно говорил с Швецией языком высокомерным, неприличным между государствами равными и независимыми. Судам в России было именно запрещено удовлетворять справедливым жалобам шведских подданных – распоряжение, которого постыдились бы и варвары; запрещено вывозить хлеб в Швецию, тогда как это запрещение не касалось других народов. Есть столкновения, которые можно устранить путем переговоров, но за оскорбление можно удовлетворить только с оружием в руках: таково оскорбление, нанесенное убийством Синклера.

Русский манифест от имени императора Иоанна был выдан 13 августа; в нем, между прочим, говорилось: «Между неверными и дикими, бога не исповедающими погаными, не только между христианскими державами еще не слышано было, чтоб, не объявляя наперед о причинах недовольства своего или не учиня по последней мере хотя мало основанных жалоб и не требуя о пристойном поправлении оных, войну начать, как то действительно ныне от Швеции чинится». В изданном того же числа указе говорилось, что император, несмотря на вышеупомянутый со шведской стороны несправедливый, богу противный поступок, по великодушию своему повелел: шведским подданным со всем принадлежащим им именем, пока они отсюда и из других мест Российской империи в свое отечество выехать не могут, все милостивейшую протекцию и защищение показать; никто из русских подданных не должен делать им никаких обид, досадительства и вреда.

Главным начальником шведского войска в Финляндии был назначен граф Левенгаупт, сеймовый маршал, самый популярный в это время человек в Швеции. По своим обязанностям на сейме он мог приехать к войску только через четыре недели после объявления войны. В России по депешам Бестужева заблаговременно были приняты меры; так как нельзя было употребить первую военную знаменитость империи, Миниха, то вызвали знаменитейших после него генералов, Леси и Кейта; и первому как фельдмаршалу поручено было главное начальство над финляндским корпусом; другой корпус, менее значительный, был расположен у Красной Горки под начальством принца Гессен-Гомбургского с целью защищать Петербург; положено было также собрать небольшие корпуса в Лифляндии и Эстляндии под начальством генерала Левендаля.

16 августа выехал Леси из Петербурга и 18 прибыл в Выборг, куда вызвал к себе для совещаний генерала Кейта. Осматривали укрепления Выборга и артиллерию; и, назначивши генерал-майора Шипова обер-комендантом, Леси 20 числа отправился к войску, стоявшему в Каннаное. От перебежчика фельдмаршал знал, что шведские силы невелики, состоят из двух корпусов, из которых в каждом не более 4000 человек: один, под начальством генерала Вран-

геля, находился в трех милях от Вильманштранда, а другой, под начальством генерала Будденброка, – в шести милях от этого города, которого гарнизон не превышал 600 человек. Леси созвал военный совет, на котором положено с частью корпуса идти немедленно к Вильманштранду, взявши с собою только на пять дней провианта. Приблизившись к Вильманштранду, русские 22 числа остановились в деревне Армиле, а вечером подошел к городу шведский отряд, бывший под начальством Врангеля; число шведов, включая вильманштрандский гарнизон, простиралось, по русским известиям, до 5256 человек, по шведским – до 3500; у русских 9900 человек. На другой день Леси двинулся против неприятеля, который занимал очень выгодное положение, под пушками крепости; несмотря на то, русские шли на него прямо «с толь мноюю бодростью и храбростью, как добрым порядком чрез пригорок и долины». Вначале русское войско было встречено шведами с такою свирепостью, что принуждено было податься назад, но Леси остановил напор шведов, велевши коннице наступить на их фланг, после чего шведы были сбиты с возвышений и лишились своих пушек; это так ободрило русских, что они наступили на неприятеля с удвоенным мужеством и покончили трехчасовой бой поражением шведов. Преследуя неприятеля, бежавшего в крепость, русские прорвались до самого контрескарпа, и Леси послал барабанщика требовать сдачи города; но барабанщик был застрелен, и Леси велел жестоко штурмовать город, против которого действовали только что отнятые у шведов пушки. Через час осаждающие были в палисадах, и вслед за тем русские знамена уже развевались на валу. Командовавший шведским корпусом генерал Врангель попался в плен с семью штаб-офицерами и 1250 рядовыми. Победителям досталось также 13 пушек с запасами, 2000 лошадей, а «те солдаты, которые штурмом в город вошли, равномерное знатное число добычи деньгами золотыми и серебряными, разною серебряною посудой, платьем, провиантом и иными разными вещами получили». Русские потеряли убитыми генерал-майора Уксуля, троих штаб- и одиннадцать обер-офицеров и с небольшим 500 человек рядовых.

Это было единственное значительное дело в кампании 1741 года; победители ограничились мелкою войною; Леси и Кейт возвратились в Петербург, где шли совещания о мерах на случай, если шведский главнокомандующий Левенгаупт предпримет зимою наступательное движение. О состоянии провиантской части в это время может дать нам понятие следующее известие. В октябре 1741 года генерал-прокурор дал Сенату предложение, что по указу Петра Великого велено было учредить в Петербурге и других остзейских местах запасные магазины, кроме того, на полевые и гарнизонные полки заготовлялось к наличному еще на год и восемь месяцев, почему такой нужды, какая теперь состоит в провианте, никогда не было. В 1731 году было положено провианта содержать меньше, как видно, вследствие тогдашнего мирного времени; а так как известно, какая при настоящем военном времени нужда в провианте и фураже, то прав. Сенату предлагается иметь рассуждение, в которых магазинах по скольку надобно держать провианта. По указу Петра Великого велено учредить должность генерального эконома, который должен был везде заботиться о хлебных запасах, чтоб в неурожайные годы народ голоду не терпел, причем взять иностранные уставы и прибавить своего. В указе 1736 года написано: генерал-провиантмейстер должен стараться о заготовлении провианта и фуража на армейские и гарнизонные полки и в запасные магазины и для отвращения казенного убытка заготовлять провиант в магазины у помещиков и крестьян, а не у подрядчиков, смотря по дешевизне, хотя б и лишнее было и нужды в тот год не было; но такого генерал-провиантмейстера и до сих пор нет; при армии генерал-провиантмейстер был, но он исполнял только то, что ему от генерал-кригскомиссара приказывалось; а с ноября 1740 года и никакого генерал-провиантмейстера нет. В сентябре 1740 года генерал-прокурор предлагал Сенату, не лучше ли в магазинах держать рожь, а муки только для внезапных расходов понемногу, ибо солдатам лучше раздавать свежий хлеб, а мука через год или два получает затхлость и горечь, для молотбы же содержать мельницы и ручные жернова, сверх того можно молотить и на частных мельницах, но и этому предложению до сих пор рассуждения еще не было.

Как скоро Швеция объявила войну, то, разумеется, первым делом русского правительства было обратиться к союзнику, который обязан был помогать России против нападающей державы и давал такие торжественные обещания, что поможет непременно. 16 августа был изготовлен в Петербурге рескрипт Бракелю в Берлин с известием о шведской войне и с указом, чтоб ехал в Силезию к Фридриху II и требовал помощи в силу заключенного недавно оборонительного союза. В постскрипте к этому указу говорилось: «Хотя нельзя надеяться, чтоб король прусский склонился дать нам союзническую помощь, однако мы рассудили ее потребовать на следующих основаниях: 1) если б мы этого не сделали, то король мог принять дело так, что мы от союза наперед отступили; 2) требование наше может некоторым образом способствовать к тому, чтоб Пруссия не вступала в дальнейшие сближения с Швециею; 3) король не может объявить достаточно важной причины к отказу нам в помощи, ибо хотя мы старались отвратить его от силезского предприятия сильными увещаниями, однако против него по сие время не действовали».

По прибытии в Бреславль Бракель прежде всего имел разговор с министром Подевилем о договоре, заключенном между Пруссией, Франциею и Бавариею против Австрии. Бракель заметил, что, конечно, новое обязательство Пруссии с Франциею не повредит обязательствам Пруссии с Россиею. Подевильс стал обнадеживать его честью, что в договоре с Франциею ни одним словом не упомянуто о шведах, тем менее непосредственно с ними что-либо заключено. «Я знаю, – говорил Подевильс, – что носят разные слухи; утверждают, будто наш король шведам деньги дал; но я желаю, чтоб тот талер, который дан шведам, сгорел в моей душе. Вы можете смело обнадежить свой двор, что король наш предпочитает дружбу с Россиею всем прочим, будет постоянно и свято ее сохранять и с шведами ни в какой союз без ведома и соизволения России не вступит». 22 октября Бракель имел аудиенцию у Фридриха II в лагере. Король принял его очень милостиво, признал объявление войны шведами насильственным и несправедливым, признал и обязанности свои в силу последнего трактата; но при этом дал знать, что ему нет никакой возможности исполнить эти обязанности при настоящих обстоятельствах, так как он сам влечен в упорную войну; параграф союзного договора, по которому он обязан был давать помощь, король изменял так, что и Россия освобождалась от обязанности помогать Пруссии, в случае если бы сама находилась в войне с другими державами; наконец, Фридрих велел Бракелю уверить императорское правительство его королевским словом и честью, что он ничего не предпринимал в предосуждение России, с шведами не вступал ни в какие соглашения, намерен оставаться с Россиею в союзе и уверен, что она в состоянии смирить своих врагов и без чужой помощи и потому легко может обойтись без прусского войска. После этого Бракель имел смелость, как выражается, со всяким почтением представлять королю злые следствия союза его с Франциею, которая прежнюю свою систему переменить не может, переменит только предмет ненависти и зависти: до сих пор домогалась она раздробления австрийских владений, и так как она этой цели теперь достигла, Римской империи дала особого цесаря, получила также возможность довести свои границы до Рейна, то не станет смотреть равнодушно на увеличение прусских сил, а будет стараться ослабить их или сама собою, или чрез посаженного ею цесаря. Бракель представлял необходимость скорейшего примирения Пруссии с Австриею и союза между ними против Франции, чему русский двор не откажется содействовать всеми своими силами. Король отвечал, что он против воли должен был вступить в союз с Франциею, и так как теперь французы с большими силами вошли в Германию и стоят недалеко от его собственных земель, то ему нельзя отступить от своих обязательств и подвергнуть свои Клевские и Вестфальские земли мщению французов.

Был еще другой союзник – король польский и курфюрст Саксонский. Относительно Польши первым делом нового правительства по свержении Бирона было поручить Кейзерлингу выведать у короля, какого он мнения насчет дальнейшей судьбы Курляндского герцогства. Кейзерлинг объявил королю, по каким «великим и важным» причинам герцог Кур-

ляндский отрешен от регентства Российской империи и что необходимо держать отрешенного регента под постоянным арестом, ибо герцог по беспокойному и запальчивому нраву при получении свободы не замедлит употребить во зло свое знание Российской империи. Король отвечал, что он готов помогать императору при новом избрании курляндского герцога, но советует не спешить, а составить сначала общий план. Потом начали пересчитывать разных принцев, и сам король, догадываясь, за кого будет хлопотать Россия, предложил как угоднейшего ему кандидата принца Брауншвейг-Бевернского, родного дядю русского императора.

Вторым поручением, возложенным на Кейзерлинга, было осведомиться, чью сторону примет король-курфюрст в открывшейся борьбе на Западе; в Петербурге были получены известия, что Август III сносится с Франциею, хочет получить с ее помощью императорское достоинство, для чего намерен отказаться от польского престола в пользу Станислава Лещинского. Кейзерлинг в начале 1741 года спешил уверить свой двор, что король Август не думает об императорской короне и без соглашения с Россиею не вступит ни в какой союз, как уже он высказался, когда Фридрих II предложил ему свой союз; король желает поддержания прагматической санкции и спокойствия в империи: доказательством служат представления, сделанные прусскому королю, чтоб удержался от вступления в Силезию. Королева венгро-богемская требует 6000 вспомогательного войска на основании договора 1733 года; но король Август уклоняется от исполнения этого требования на основании того же договора, который говорит, что он освобождается от исполнения этого обязательства, если сам принужден будет вести оборонительную войну, а теперь военное пламя загорается подле границ королевских владений и опасность становится день ото дня очевиднее; король по близкому свойству не удаляется от теснейшего союза с Мариєю Терезиею, но может вступить в такой союз только вместе с Россиею и с условием получить от королевы вознаграждение за военные убытки, причем должен получить в заклад некоторые богемские волости. Донося об этом, Кейзерлинг прибавлял, что в Дрездене питают некоторое недоверие к венскому двору.

В половине марта Кейзерлинг донес, что король готов вступить в обязательство с королевою венгро-богемскою и все это дело предает в руки русского императора и короля английского. Дело о союзе четырех держав – России, Австрии, Саксонии и Англии – двинулось вследствие падения Миниха. Кейзерлинг объявил, что его император готов перенять на себя гарантию о вознаграждении убытков, которое венгро-богемская королева обязана будет сделать королю Польскому, готов приступить и к общим мерам и ждет только плана общих действий, а между тем войска его готовятся к немедленному выступлению в поход.

В марте приехал в Дрезден от русского двора в качестве полномочного посла тайный советник граф фон Сольмс; но Кейзерлинг остался, и оба вместе вели дела. В апреле оба министра уведомили свой двор, что между королем польским и Мариєю Терезиею заключен договор, по которому первый обязан помогать второй всеми своими силами, как скоро другие союзники двинут свои войска против Пруссии, и продолжать войну до тех пор, пока состоится мир с согласия всех союзников; притом король обязан при избрании императора подать свой голос в пользу мужа Марии Терезии, герцога Франца Лотарингского, и склонять к тому же других курфюрстов. Мария Терезия обещала за это по заключении мира с Пруссиею выплатить саксонскому курфюрстскому дому двенадцать миллионов ефимков в продолжение осьмнадцати лет; завоевания разделить поровну. Прошло четыре месяца, и в половине августа тайный кабинет-министр Брюль объявил Кейзерлингу и Сольмсу в конфиденции, что венский двор ратификаций заключенного договора более четырех месяцев медлил, а в это время обстоятельства чрезвычайно изменились; английский король дал знать, что договор с Австриею не время уже ратификовать, а между тем король польский этим договором поставлен в очень неприятное положение: несмотря на то что уговорились содержать его в тайне, он уже известен Франции и Пруссии; наконец, должно прибавить, что королю Августу стоило несколько миллионов привести армию в военное положение, и если бы с самого начала поступили с прямою

ревностью и соединением сил, то положение Европы не было бы теперь так опасно и сомнительно, прусского короля удержать было можно, пока он не вступил в соглашение с Францией и Баварией. Теперь французское войско уже вступило в германские границы; дворы кельнский, баварский и пфальцский соединились с Францией, к ним пристали майнцский и трирский, так что теперь нет возможности препятствовать прусскому королю, который объявил, что если еще несколько недель не будет заключено мира, то он потребует всей Силезии. При таких деликатных и сомнительных обстоятельствах короли Польский и Английский не в состоянии что-либо предпринять, тем более что и время прошло соглашаться насчет плана, без которого общие действия союзных дворов не могут быть начаты и продолжены. Об этом уже сообщено в Вену отсюда и из Англии; но венский двор хочет идти своим особенным путем и старается удовлетворять Баварию чрез посредство Франции, чтоб иметь свободу действовать против Пруссии.

Что касается достоинства римского цесаря, то король Польский, если его справедливые требования будут удовлетворены, охотно даст свой голос в пользу герцога Лотарингского и будет стараться удалить баварского курфюрста от императорской короны, ибо при таком возвышении баварского дома саксонский дом будет лишен всякой надежды получить хоть малейшую долю австрийского наследства, на которое король имеет неоспоримое и большее право, чем курфюрст Баварский; уже из выражения, употребленного курфюрстом Баварским, — *можно и королю польскому кой-что уступить* — видно, как мало он обратит внимания на королевские права, когда будет императором. Поэтому здесь, пока еще руки свободны, можно бы принять решение послать тайно во Францию доверенного человека осведомиться у кардинала Флэри, что Франция, хлопоча так усердно за баварского курфюрста, намерена дать королю из австрийского наследства. Впрочем, каково бы ни было здесь положение дел, король непоколебимо пребудет в своей дружбе к России и будет также стараться предупредить начинающуюся войну. Есть известие, что король прусский старается возбудить Порту против Польши; верно также, что настоящие шведские движения есть дело Пруссии и Франции: они обе дали шведам денег. Это показывает, чего Россия может надеяться от такого соседа, когда при злом намерении силы его еще умножатся. Здесь как можно скорее желают знать, какое при настоящих обстоятельствах намерение России, так как столько времени потеряно и ничего полезного не сделано. К этому Брюль прибавил, что так как Европе грозит страшная опасность, грозит генеральная революция, то нельзя ли привести кардинала Флэри к мысли о генеральном конгрессе, убедив его, что этим путем можно достигнуть того, чего иначе надобно искать сомнительным путем войны.

Вслед за этим конфиденциальным разговором было получено известие о разрыве между Россией и Швецией. Кейзерлинг и Сольмс объявили королю, что император готов показать истинность своих союзнических намерений, сколько допустят обстоятельства шведской войны, и, наоборот, твердо надеется, что и король не откажет в союзнической помощи. Август III отвечал, что никогда не удалится от дружбы с императором и о своих союзнических обязательствах еще очень помнит, но теперь сам находится в страшном беспокойстве и будет принужден искать помощи. Действительно, французский уполномоченный граф Белиль дал знать во Франкфурте, что саксонский двор должен ясно высказаться, чью сторону будет держать; оставить нейтральным его нельзя. С другой стороны, пришло известие, что в Польше коронный гетман затевает конфедерацию.

В конце сентября Кейзерлинг и Сольмс уведомили свой двор, что в воеводстве Бельзском, в округах Хелмском и Галицком уже составились конфедерации под предлогом умножения войска; но, по мнению послов, дело было затеяно не для умножения войска, а по про-
искам прусским и французским, потому что приверженцы коронного гетмана часто бывают у прусского резидента в Варшаве; русскому резиденту в Варшаве люблинский воевода дал знать, что суммою от 20 до 30 тысяч рублей он надеется удержать армию от конфедерации. Впрочем, в октябре послы сообщили утешительные известия, что старанием воеводы подольского

Ржевуского в украинских воеводствах не только не состоялось никаких конфедераций, но воеводства эти протестовали против всех конфедераций, как запрещенных законом и вредных отечеству. Утвердив таким образом тишину в Украине, подольский воевода поехал в Хельм и там успел расстроить конфедерацию. Воеводство Познанское также протестовало против конфедерации; а Ленчицкое воеводство прислало к коронному гетману с запросом: для чего он собрал войско и куда идти намерен? Если против одной из соседних держав, то ему должно быть известно, что республика желает жить со всеми ими в мире; если же для других каких-нибудь целей, то ему также известно, что государственный устав запрещает собирать войско без ведома короля и Речи Посполитой. По мнению Кейзерлинга и Сольмса, такое доброе расположение воеводств было следствием недавнего проезда графа Понятовского чрез Великую Польшу и старания находящихся здесь обоих коронных канцлеров. Видя, что шляхта не хочет конфедерации, коронный гетман упал духом и начал представлять дело так, что он считал своею обязанностью собирать войско, видя повсюду в соседстве военное пламя и слыша об угрозах турецких и татарских. Но Кейзерлинг и Сольмс уверяли свой двор, что гетман действовал по наущениям прусским и шведским. Граф Брюль объявил послам, что меры, принятые королем против беспокойств и конфедераций в Польше, служат доказательством, что его величество не допускает в Польше ничего, что бы могло быть неприятно России; достоверно, что Швеция в последних беспокойствах принимала наибольшее участие, а Франция не могла принимать никакого, ибо странно было бы, чтоб эта держава, стараясь теснее соединиться с саксонским двором, в то же время хотела бы тревожить его в Польше. Брюль объявил и о результатах этого старания Франции насчет теснейшего соединения с Саксонию: заключен союз, говорил он, но, собственно, это не союз, а более приступление к трактату между Франциею, Бавариею и Пруссиею относительно раздела австрийских наследных земель. Брюль извинял поведение Саксонии в этом случае тем, что король не упоминал о своих, хотя беспрекословных, правах на австрийское наследство до тех пор, пока не осталось более никакого способа к содержанию прагматической санкции и притом обнаружилась ближайшая опасность его наследственным землям.

Легко понять, что Франция и Швеция употребляли все усилия, чтоб заставить Турцию отвлечь русские силы; но, к счастью для России, туркам было не до Европы, ибо они трепетали за Азию, ожидая с часу на час нашествия грозного шаха Надира. Этот страх турецкого правительства пред Персиею дал возможность Румянцеву сохранить твердость в Константинополе, настаивать, что Азов не будет срыт прежде, чем определено будет место для новых крепостей и освобождены будут все пленные. Подкупленный Миралем, бывший прежде послом в России, давал знать, что твердостью все получить можно от Порты. В июне Румянцев доносил, что шведские посланники имеют частые свидания с министрами Порты, а венецианский посол по секрету сообщил ему, что Франция подкрепляет шведские интриги всем своим кредитом; ее посланник объявил Порте, что король французский дал шведам три миллиона субсидий и что турки должны сделать то же. Но Румянцев замечал, что визирь ласкает шведов только для того, чтоб возбуждать опасения в Петербурге; опасаться нечего, потому что турки заняты персидскими делами. 5 июля у Румянцева была конференция с великим визирем в присутствии *медиатора*, французского посланника графа Каstellляна. Визирь требовал исполнения условия о разорении Азова; Румянцев отвечал, что Азов будет разорен, когда турки отпустят всех русских пленников; визирь настаивал, что в мирном договоре условие об Азове не состоит ни в какой связи с условием об освобождении пленных; Румянцев возражал, что обязательство об Азове точно, но о пленных еще крепче того; следовательно, оба пункта должно исполнить, что все артикулы трактата в равной силе и вместе составляют один корпус трактата, который во всех пунктах равномерно исполнен быть должен. На это медиатор сказал, что хотя справедливо, что каждый трактат состоит из таких статей, которые все должны быть исполнены, однако всегда есть статьи главные, как, например, в настоящем договоре статья об Азове, ибо

известно, что и война велась за этот город и весь договор основан на его разорении, следовательно, эту статью надобно исполнить прежде других, и ему кажется, что Россия против этого не может выставить никаких основательных причин.

Румянцев отвечал: «Всеми свету известно, что война началась не за Азов, но о прошлом говорить нечего; я не спорю, что для Порты главная статья об Азове, а для России – о пленных, и потому обе статьи должны быть исполнены в одно время; русское требование справедливее турецкого тем более, что Порте давно объявлено: с русской стороны не сделают ничего, если турки не будут исполнять и с своей стороны обязательств». Медиатор заметил, что Россия обязалась разорить Азов в четыре месяца, считая с прошлого мая, тогда как обязательство насчет пленных обоюдное: как у турок находятся русские пленные, так у русских турецкие; причем секретарь французского посольства Пейсонель прибавил, что в России больше турецких пленных, чем в Турции русских. Румянцев отвечал, что число пленных нейдет к делу, важен вопрос, отдаст ли Порта всех пленных, тогда Россия немедленно Азов разорит. «Пусть разорят Азов, пленные сейчас же будут выданы», – говорил визирь. «Между словом и делом большая разница, – возражал Румянцев, – не только в провинциях, но и здесь, в Константинополе, ни одного пленника от турка не взято и жидам указа не объявлено». Конференция кончилась взаимными пререканиями. Румянцев обратился к помощи английского посла, чтоб возбудить сановников Порты против визиря, который, зная положение дел в Европе, хотел им воспользоваться, а французский посланник, естественно, поддерживал его в этом, не желая скорым окончанием дела обезопасить Россию со стороны Турции. Но главным образом Румянцев надеялся на Персию и считал необходимым выказывать с своей стороны полную твердость и неуступчивость не разорять Азова до тех пор, пока турки исполняют все русские требования и признают императорский титул русского государя. Румянцев уверял свой двор, что от турок не может быть никакой опасности; шведские посланники добиваются субсидий, но, кроме красных слов, ничего не получают.

Но в Петербурге думали иначе, и Румянцев получил указ оканчивать дело как можно скорее, не останавливаясь в крайнем случае ни за сроками исполнения обязательств, ни за предварительным выбором мест к постройке новых крепостей. Румянцев отвечал, что исполнит указ, но прибавил: «Порте столько же, если еще не больше, нужно скорое окончание дел с Россией; хотя визирь по ненависти своей и желал бы всякие каверзы произвести, но султан внутри серая и народ не хотят слышать ни о каких столкновениях с Россией, а французы с шведами, несмотря на все свои усилия, ничего не сделают». Но делать нечего, надобно было исполнить указ, и 27 августа Румянцев подписал конвенцию, в которой турки признали императорский титул русского государя, а с русской стороны положено немедленное разорение Азова, с обеих же сторон дано накрепчайшее обещание возвратить пленных.

Когда получено было известие о начатии войны между Россией и Швецией, то шведские посланники старались выставить ее с своей стороны оборонительною, чтоб заставить турок по договору подать помощь Швеции; но при Порте хорошо знали, что Швеция начала войну, и потому легко было отговориться от подания помощи, да и подать ее было нельзя войском по персидским отношениям и деньгами по неимению их в казне; но Вильманштрадская победа не понравилась в Константинополе, потому что здесь боялись усиления России. Румянцев писал, что если турки и освободятся от опасности с персидской стороны, то скорее нападут на австрийские владения, границы которых обнажены, ибо при Порте давно толкуют, что Белграду без Банната Темешварского быть нельзя. 28 октября великий визирь пригласил Румянцева на дружеский обед и между разным разговором, заведя речь о шведских делах, вдруг предложил посредничество Турции в примирении воюющих держав. Румянцев отвечал, что не имеет на этот счет никаких высочайших повелений. Румянцев писал к своему двору, что это предложение сделано единственно для того, чтоб отделаться от шведских требований помощи и выиграть время; принимать же турецкое посредничество не соответствует русским интере-

сам, ибо нельзя думать, чтоб Порта вступилась за Швецию и подала ей помощь. Между тем переводчик русского посольства Пини приискал в канцелярии рейс-ефенди приятеля, подьячего, который сообщил «разные штуки», а именно копию с письма шведского министра Гилленборга к визирю и с предложений, поданных шведскими посланниками. Здесь Порту убеждали воспользоваться настоящими обстоятельствами и начать войну с Россиею; выставляли, что Швеция объявила войну России в угодность Порте, и обещали не заключать мира до тех пор, пока Турция не получит желаемого ею удовлетворения; требовали, чтоб Турция не только помогла деньгами, но чтоб нынешний же год выслала татар на Россию и дала помощь Орлику для возмущения Запорожья, а о Персии бы не беспокоилась: Швеция помирит ее с шахом Надиром; кроме того, обещали возбудить против России поляков. По заключении известной конвенции Румянцев выехал из Константинополя, оставив Вешнякова в качестве полномочного посла.

Турки сдерживались персиянами, знаменитым завоевателем Индии шахом Надиром: это заставляло Россию обращать особенное внимание на Персию. В марте отправлен был из Петербурга рескрипт к резиденту при персидском дворе Ивану Калушкину: «Вы должны стараться всеми средствами войти в кредит у шаха и при всяком случае уверять его в нашем истинном намерении жить в дружбе с Персидским государством, а между тем вы должны с крайним прилежанием выведывать о его движениях и намерениях. Отправленный от шаха ко двору нашему посол Магомет Усеин-хан прибыл в Астрахань с 126 человеками свиты и столькими же лошадьми, принят со всяким почтением и довольством в корму; в дорожные приставы дан ему подполковник Эгбрехт с приличным солдатским конвоем; но посол в дороге ведет себя самовольно и сурово, как будто в неприятельской земле, жестоко бьет палками и топорными обухами не только конвойных унтер-офицеров, рядовых и знатных донских старшин, но хотел бить палками и самого подполковника Эгбрехта за то только, что собранные для посла в подводы лошади случились малорослы; подполковник едва спасся от палок, которые уже были принесены к послу. Прежний персидский посол Хулефа, отпущенный из Петербурга, жил долго в Москве, а теперь в Тамбове ждет Усеин-хана и посылает к шаху лживые донесения, поносительные для нашей империи известия. Об этих поступках обоих послов вы должны сделать приличные представления при шаховом дворе, как по тамошнему положению дел наилучше рассудите». Калушкин доносил, что когда в мае месяце по возвращении Надира в Тегеран он был у него на аудиенции и подал две грамоты – одну от императора, а другую от правительницы, то шах взял только первую, а вторую велел держать у себя министру своему Мехтихану. Резидент писал: «Прежде хотя с трудом, однако можно было еще говорить о делах, а теперь так неслыханно возгордились как шах, так и все его министры, что и подступиться нельзя; шах только и говорит, что нет в свете государя, которого бы можно было с ним сравнить, на какое государство оборотит свою саблю, то сейчас же покоряется, причем ругает скверными словами то Великого Могола, то султана турецкого, не обходя их жен и детей, причем не говорит, а кричит во все горло. Подражая государю, министры и придворные, набранные вновь из последней подлости, ни с кем говорить не хотят. На твердость шахову к русской стороне вовсе положиться не смею; враждебные замыслы у него на нас уже были и теперь тайно продолжают; недавно приезжали к нему в лагерь депутаты: трое киргизов и четверо тухменцев, русские подданные, кочующие вместе с калмыками между Астраханью и Кизляром; именем всех аулов они объявили, что желают быть в службе шаха, не требуя от него ни оружия, ни лошадей, а только жалованья; обещали притом, что уговорят к тому же и калмыков. Надир принял их ласково, велел дать каждому по 200 рублей и отпустил с тем, чтоб они слово свое твердо держали и были готовы, когда дело до них дойдет. Что касается шаха, то слабый мой ум всех неслыханных его затей понять не может: 28 мая призваны были к нему армянские архиереи, католический епископ с патерами, жида и муллы, которые евангелие и талмуд на персидский язык переводили. Когда один из армянских архиереев объявил шаху,

что они окончили перевод св. писания, то шах сказал: „Вы совершили богоугодное дело, за что будете нами пожалованы. Вы видите, что всевышний нам даровал величество, власть и славу и в сердце наше вселил желание рассмотреть различие столь многих законов и, выбрав из всех них, сделать новую веру такую, чтоб богу угодна была и мы бы оттого спасение получили; для чего столько на свете разных религий и всякий своею дорогою идет, а не одною; если бог один, то и религия должна быть одна?“

«Шах, – писал резидент, – одержим постоянно неуголимым гневом, едва не каждый день казнит и ослепляет по несколько знатных управителей. Недавно ширазские старшины подали просьбу, чтоб шах определил к ним прежнего губернатора. Надир так на них за это рассердился, что велел привести их пред себя и пять человек задавил; потом опомнился и спросил, какое их преступление. Когда ему объяснили, в чем состоит их просьба, то он велел прогнать их от себя палками». Новый Навуходоносор обезумел от своих успехов. «Стоило мне, – говорил он, – лягнуть одною ногою, и вся Индия рушилась с престолом Великого Могола, следовательно, если обеими ногами лягну, то весь свет в пепел обращу. Между всеми нашими неусыпными трудами мы заботимся и о спасении души; мы не можем ослушаться вдохновения божия и не дать всем такой веры, которая была бы приятна и мусульманам, и христианам».

Калушкин не переставал остерегать свой двор насчет враждебных намерений Надира. Резидент следовал за шахом в поход против лезгинцев больной, претерпевал крайнюю нужду. Однажды в августе месяце, разговаривая с афганским предводителем, Надир вдруг стал Кричать: «Персия скверная, достойна ли ты такого великого государя иметь? Един бог на небе, а мы единый государь на земле, ибо ни один монарх на свете о нас без внутреннего страха слышать не может. Если бы теперь саблю нашу на Россию обратили, то легко бы могли завоевать это государство; но оставляем его в покое по той причине, что нам от этого завоевания пользы не будет: во всей России больше казны расходуется, чем собирается, о чем я подлинно знаю; следовательно, надобно такого государства искать, где бы нам была прибыль». Калушкин был тем более раздражен этою выходкою, что питал глубокое презрение к персидскому войску, составленному из всякой сволочи, не имевшей никакого понятия о военном деле. Слух о движении русских полков к Кизляру заставил Надира приутихнуть; точно так же остыла у него охота к войне с турками, когда последние приняли меры для защиты границ своих. Поход Надира в Дагестан кончился неудачно: горцы успешно защищались в своих неприступных убежищах, и шах с большим уроном должен был поспешно отступить от Аварских гор, плача от досады, произнося хулы на бога. Безвременно ночью иногда по два и по три раза выходил он из женских шатров в переднюю палатку и сидел часа по два: тут, кто б ему ни пришел на память, приказывал звать к себе и казнить; кричал, что счастье начинает от него отступать и потому произведет последний опыт: или сам пропадет и все свое войско погубит, или добьется того, что весь Дагестан обратит в пепел, велел собрать вдруг девять миллионов рублей денег и 25000 войска; наконец, Надир призвал к себе индейского волшебника, чтоб тот предсказывал ему будущее. По этому поводу Калушкин писал: «Напрасно он столько труда принимает, потому что и без волшебства знать можно, что он скорее все свое войско растеряет и сам пропадет, нежели лезгинцев покорит».

На шаха Надира России можно было так же полагаться, как на Фридриха II: отношения были одинакие к обоим завоевателям, и восточному, и западному; но персидский шах по крайней мере сдерживал турок, а прусский король, несмотря на союзный договор, никого не сдерживал. Но оставался еще союзник, король датский.

Весною 1741 года на осведомление русского посланника Корфа датское министерство отвечало, что если шведы начнут неприятельские действия против России, то король не преминет исполнить свои союзнические обязательства, впрочем, надобно надеяться, что до такой крайности не дойдет. Министр фон Шулин основывал свои надежды преимущественно на том, что у шведов нет денег и не знает он в Европе такой казны, которая была бы к их услугам;

делают же вооружения шведы в угоду некоторым державам, чтоб удержать Россию от подания помощи венгерской королеве. Когда же дело доходило до подробнейших изъяснений о помощи, то Шулин отвечал, что Дания по своим обязательствам и с Швециею не может ничего начать, прежде чем шведы действительно нападут на Россию и прежде чем истекут от этого времени назначенные в договоре три Месяца. Из этих слов Корф заключал, что фон Шулин не столько старается о сохранении тишины на севере, сколько хочет показать свое усердие французскому двору, и если Швеция объявит войну России, то к этому понудит ее поведение Дании. Шулин уверял Корфа, что датский министр при шведском дворе делает последнему уже четвертое представление против движения войск в Финляндии, а Бестужев из Стокгольма уверял, что никаких представлений небыло сделано. «Я опасаюсь, – писал Корф в июле, – что здешний двор будет отрицаться от исполнения договоров. Угодничество французскому двору и зависть к России с некоторого времени довольно вышли наружу и нет сомнения, что при случае окажутся наделе».

В августе, когда Швеция объявила России войну и русские посланники Корф и Чернышев потребовали исполнения союзных обязательств, то им отвечали, что король отправил к своему министру в Стокгольм инструкцию, чтоб он самым настойчивым образом предложил со стороны Дании добрые услуги для восстановления мира, и если шведы отклонят эти предложения, то король обнадеживает по прошествии назначенного срока подать действительную помощь России, к чему теперь, особенно для вооружения флота, время уже прошло и надобно ограничиться одними переговорами. В конце сентября посланники доносили, что датский двор хотя не будет явно помогать шведам, но нимало не склонен также выполнять и союзнические обязательства с Швециею. Для приличия тянули время, представляя русским посланникам, что ведутся переговоры с Швециею и в случае неудачного исхода их король непременно даст помощь России, если в Германии между тем не произойдет ничего особенного, ибо французы, по последним известиям, намерены расположиться до ольденбургских границ, а Флёри и Белиль публично сказали, что отыщутся способы для удержания датского короля от подания помощи России против Швеции. Если так пойдут дела, то Дания не в состоянии сопротивляться сильной Франции, пред которою все преклоняются. Когда в начале ноября русские министры представили, что определенный в договоре срок, именно три месяца по объявлении войны, уже прошел и Дания по букве трактата обязана дать помощь, то Шулин отвечал, что Швеция господствует на Балтийском море, а французы находятся у границ ольденбургских, и помощь Дании, т.е. присылка эскадры, зависит от того, будет ли Англия помогать России. Русское правительство должно откровенно объявить датскому, как условлено у России с Англиею: если британская эскадра явится весною на Балтийском море, то, быть может, приняты будут меры соединить с нею и здешнюю эскадру; в противном случае не видится возможности провести здешние корабли: они непременно попадутся в шведские руки, отчего Дания потерпит вред, а Россия ничего не выиграет.

Старые союзники отказывались помогать, но была в Европе держава, которая более других толковала о необходимости поддержать политическое равновесие, не дать Франции самой и посредством других раздробить австрийские владения, то была Англия, интересы которой были совершенно одинаковы с интересами России; между этими державами, естественно, должен был образоваться крепкий союз.

В Лондоне князь Иван Щербатов объявил, что его двор намерен поддерживать прагматическую санкцию и в этом поступать согласно с королем английским. Министры Георга II отвечали, что и английский король желает того же самого, но как начать поддержку прагматической санкции, насчет этого ожидается изъяснение от русского двора, потому что никто из соседей не осмелится подняться против прусского короля прежде России. В парламенте члены обеих партий единогласно говорили, что надобно поддерживать прагматическую санкцию, а как поступить, время научит. Щербатов доносил, что король и все министры спрашивали его

ежечасно о дальнейших решениях России. Министр Марии Терезии в Лондоне граф Остейн сказал Щербатову по секрету, что, по его мнению, Роберт Вальполь вбил королю в голову, что венский двор не может собрать войско для сопротивления прусскому королю. Роберт Вальполь говорил ему, Остейну, чтоб Мария Терезия подумала, как бы лучше сговориться с прусским королем, потому что опасно начать неприятельские действия и неизвестно, как Россия намерена поступить, а французский король начинает иметь соглашение с прусским. После этих слов Остейн потребовал аудиенции у короля, чтоб узнать ясно, будет ли Англия действительно помогать венскому двору. По мнению Щербатова, Остейн напрасно горячился: Вальполь не желает новой войны, рад был бы прекратить и старую, притом же у него новые хлопоты: противная партия в парламенте намерена представить адрес королю об удалении Вальполя от всех должностей. На аудиенции у короля Остейн настаивал, как нужно подать Марии Терезии скорую помощь, ибо поддержание Австрийской монархии в целом объеме необходимо для всей Европы; если не отнята будет сила у короля Прусского, то он со временем и к другим соседям визит с войском сделает, что прежде других может случиться с королем Английским в немецких его владениях. Георг II отвечал, что он думает совершенно так же и намерен действовать против прусского короля, но прежде всего надобно узнать наверное, каким образом намерена поступить Россия. Получив донесение об этом ответе от Щербатова, Остерман написал ему: «Оная королевская декларация собою явна; а что до нас надлежит, то вам уже давно дано знать и тамошнему двору сообщить ведено, что мы для содержания прагматической гарантии готовы с его королевским величеством во все пристойные и потребные меры вступить и действительный концерт учинить. Вы можете о том тамошним министрам, однако ж всегда в потребной конфиденции и без разглашения о том другим министрам, сообщить. Графу Остейну одному можете вы о вышеписанном сообщить, однако ж с подтверждением, чтоб, кроме у одних английских министров, инде нигде о том какое употребление не учинил, яко ж он сам ведает, что от секрета все зависит. С прусским министром можете вы дружеское свое обхождение неизменно продолжать и о делах, до государя его касающихся по какому его вопросу, сказать, что вы к войне никаких инструкций и указов не имеете».

Шведские движения заставили Россию забыть о прагматической санкции и требовать от Англии высылки эскадры в Балтийское море; но в начале июля Щербатов донес, что в этом году ждать английской эскадры нечего, ибо уверены, что и французская эскадра в этом году в Балтийское море также не отправится. На это донесение Остерман отвечал, что если Россия просит у Англии эскадры в помощь против Швеции, то это потому, что английский интерес одинаково с русским требуют предупреждения Северной войны: если войны миновать нельзя, то необходимо кончать ее как можно скорее, а посылка эскадры одинаково служит к тому и другому; «чрез предупреждение или скорое окончание войны мы получим свободные руки и будем в состоянии помогать общему делу». Но Англия стояла на своем и в заключаемом с Россией союзном договоре постановила пункт, что во время войны с Испаниею за неимением кораблей не пошлет эскадры в Балтийское море, но вместо того будет давать России ежегодно по сто тысяч фунтов стерлингов. Договор не был ратификован. В таком же положении находились дела и по объявлении шведами войны.

Россия и Англия сближались по одинаковости враждебных отношений своих к Франции. Неприязненные действия последней против России были очевидны, и, несмотря на то, дипломатические сношения между двумя дворами не прерывались, русский посланник находился в Париже, французский – в Петербурге.

Вице-канцлер граф Головкин обратился к великому адмиралу графу Остерману с откровенным мнением, «что зело потребно бы было всячески стараться себя из рук Франции вывести в рассуждении ее тайных неприятельских поступков. Великий адмирал отвечал во взаимной конфиденции, что находит мнение вице-канцлера очень основательным, но так как Франция была посредницею при заключении мира между Россией и Портою и приняла на себя его гаран-

тии, то мнится, что при нынешних конъюнктурах не надобно ее огорчать никаким наглым поступком, но всячески менажировать, ибо хотя она теперь тайно нам злодействует, однако наружно всякую дружественную апаренцию оказывает; но, когда мы что-либо явно ей учиним, тогда она уже наружным образом нам вредить может, итак, лучше ее злости истинною твердостью удерживать, нежели самым в чем-либо зачинщиком быть, чтоб весь свет видел, какую мы к ней умеренность показываем, и лучше тайное злодейство ее ныне сносить, нежели явно ее на себя подвигнуть».

В марте Остерман писал в Париж Кантемиру: «По нашему мнению, французское намерение ни к чему иному клонится, кроме чтоб наперед военный огонь везде запалить, а потом, получа чрез то свободные способы, свои дальние виды тем скорее и лучше в действо производить. Сие наше мнение от того не отдалено, что вы уже неоднократно в прежних своих реляциях доносили и в нынешней надежно подтверждаете, а именно, что Франция действительно против венского двора оружие употреблять не станет, и по тем же от вас самих объявленным резонам мы и ныне в том с вами утверждаемся; однако ж по некоторым надежным же секретным ведомостям является: 1) что между Франциею, Гиспаниею и курфюрстом Баварским противу дому австрийского действительное согласие учинено; 2) что вследствие того великая сумма денег к баварскому двору от Гиспаниии действительно уже заплачена, из которой чрезвычайные в Баварии происходящие сильные вооружения чинятся; 3) что из Алзаций под образом дезертирования много людей из французского войска в Баварию отпускаются; 4) что Франция действительно 30 тысяч своего войска к нему, курфюрсту Баварскому, во вспоможение послать намерена; 5) что такожде короля прусского к себе присоединить намерение имеет; 6) и дабы австрийский дом вовсе и нашего вспоможения лишить, то Швецию на нас поднимают, которой для того и два миллиона денег обещали. Сия ведомость от доброй части тем, что ныне в Швеции происходит, подтверждается. Мы вам о том для того пространно сообщаем, дабы вы, будучи там на месте, толь наипаче обо всем том подлинно проведать в состоянии были и надлежаше стараться могли, что надлежит до ваших поступков при всех таких обстоятельствах. Подлинно оные наиглавнейше в том состоять имеют, что с крайним прилежанием и тамошние поступки, и происхождении смотреть и заблаговременно и обстоятельно обо всем доносить».

Чтоб вызвать какое-нибудь объяснение, в конце марта Кантемир обратился к кардиналу Флёрю с предложением, что император готов вступить в соглашение с французским королем об общих мерах для исполнения гарантии прагматической санкции; император тем охотнее открывает свое намерение королю, что из всех донесений его, Кантемира, усмотрел доброе расположение короля к Марии Терезии и к сохранению европейской тишины и что если две такие сильные державы примут общие меры, то исполнение гарантии будет легко. Кардинал отвечал с сердцем, что король не может и не должен принимать никаких мер к поправлению дурного положения королевы венгерской; удивительно, что от короля требуют помощи Марии Терезии, к чему он вовсе не обязан; эту тягость нести должны те державы, которые приняли на себя гарантию прагматической санкции, а французский король прагматическую санкцию не гарантировал; Франция хотя и не объявляла войны англичанам, однако находится с ними не в такой дружбе, чтоб вместе с ними принимать общие меры в пользу королевы Венгерской.

«Такая неожиданная и дикая речь» привела Кантемира в великое удивление. Кардинал, отвечал он, не мог забыть, что между королем и покойным Карлом VI заключен союзный договор, в котором Франция за большие уступки со стороны Австрии гарантировала прагматическую санкцию; договор этот так нов, что и чернила на нем еще не высохли; кардинал не может также забыть, сколько словесных и письменных обнадеживаний сделано французским правительством как министрам венского двора, так и находящимся здесь министрам других держав о святом исполнении этих обязательств. Эти обнадеживания нимало побудили и русский двор к принятию известного решения, и теперь он, Кантемир, не знает, как согласить настоящий ответ кардинала со всем предшествовавшим и как донести об этом своему государю. Правда, отвечал

кардинал, король заключил с покойным императором упомянутый договор, но договор этот в совершение не приведен, ибо покойный император не только обещанной имперской ратификации не доставил, но сам старался ее задержать, заставя вюртембергского посланника на регенсбургском сейме протестовать против выдачи этой ратификации. Таким образом, король Французский нисколько не обязан исполнять договор; что же касается до обнадеживаний, сделанных французским правительством по смерти императора Карла VI, то никто не может доказать, что Франция поступала вопреки им. Кантемир возразил, что не знает, что происходило на регенсбургском сейме, но знает, что покойному императору не было никакой пользы останавливать ратификацию, которая, впрочем, и не нужна, потому что прагматическая санкция касается не империи, а частных владений австрийского дома. «Объекции сии, – пишет Кантемир, – будучи такого основательства, что ничего к опровержению их резонабельно привести не можно, господин кардинал такие смешные и несостоятельные резоны против них употребил, что стыдно об оных и упоминать: столь они были беспутны и без всякого основания. Когда кардинал, уже отложив всякий стыд, прямо выговорил, что король санкцию прагматическую не гарантировал, никакого сомнения уже не остается, что всем способом вредить королеве венгерской намерены. *Квестия* (вопрос) потому о том только идет, чтоб знать, когда и каким образом свою злую склонность в действо произвести намерены». Кантемир думал, что Франция действительно войны против Марии Терезии не объявит и не будет препятствовать державам, которые станут помогать Австрии против прусского короля, но будет стараться возбудить междоусобную войну в Германии и потом под предлогом защиты союзных себе германских государей ввести свое войско в империю для приобретения новых областей и для исполнения дальнейших своих видов, которым трудно предвидеть границу. Отсюда Кантемир заключает, что необходимо пресечь эти виды благовременным предупреждением; удивляется при этом медленности морских держав, которые больше всех имеют причину опасаться следствия прусских успехов, нарушения всей европейской системы разделением областей австрийского дома.

3 мая Кантемир имел любопытный разговор с кардиналом Флэри. Кардинал упомянул, что в Швеции усматривается военное движение. Кантемир отвечал, что с русской стороны не пренебрежено ничем для сохранения северной тишины и если начнется война, то весь свет должен признать правду России. Кардинал сказал, что он сам не понимает, как шведский двор может отважиться на войну с Россией, ибо силы обеих держав вовсе не равны, и потом начал распространяться в обычных своих рассуждениях о недостатке доверия в Европе, о подозрительности, господствующей между державами, о распространяющемся повсюду духе несогласия, который должен произвести страшное кровопролитие; кардинал высказывал свое миролюбие и сожаление, что все его труды для сохранения европейского спокойствия были напрасны. Кантемир заметил, что тяжкий ответ отдадут те, которые подали повод к наступающим бедам. Флэри продолжал в том же проповедническом тоне, что не только войною, но и другими язвами бог людей наказывает: в один и тот же год видим и жестокую зиму, и неурожай, и болезни; что он не может понять, как эти язвы не остановили высокомыслящих войнолюбивых людей, и, что всего хуже, при такой общей склонности к войне нельзя найти ни одного посредника, который бы привел всех к доброму согласию; напротив, всякий спешит принять участие в войне, которая до него, собственно, не касается. Кантемир заметил, что все дела можно было бы окончить полюбовно, если бы тому не помешало внезапное нападение пруссаков на Силезию, ибо другие державы по договорным обязательствам и для собственной безопасности не могут не принять участия в войне; что же касается посредничества, то Франции всего лучше принять его на себя по известной правоте и миролюбию его, кардинала. Флэри отвечал на это, что он вовсе не оправдывает поступка короля Прусского, но есть известие, что Пруссия удовольствуется одною Нижнею Силезиею, если венгерская королева покажет склонность к примирению, и, быть может, королева и показала бы эту склонность, если бы другие державы не ободряли ее надеждою помощи. Впрочем, как он, кардинал, ни склонен к умиротворению, его добрые

услуги были бы совершенно бесплодны, ибо хотя Франция и находится со всеми другими державами в мире, однако многие смотрят на нее подозрительно, повторяя старинные бредни об ее стремлении ко всемирной монархии и на основании этих бредней заключая друг с другом союзы и принимая ненужные меры. Кантемир отвечал, что от кардинала зависит уничтожить такое предубеждение, удаляясь от войны, тем более что Франция очень сильна, и никакая держава напрасно раздражать ее не решится. «Хотя я не придаю никакого значения сладким словам кардинала, – писал Кантемир, – однако счел своею обязанностью донести об этом разговоре, из которого видно, с каким искусством он производит свои внушения, клонящиеся к тому, чтоб отклонить союзников от подания помощи королеве Венгерской, ибо это будет препятствовать видам Франции, как, например, вооружение морских держав помешает приобретению Люксембурга или другой какой-нибудь части австрийских Нидерландов».

Полученные Кантемиром известия о вооружении в Бресте эскадры, назначаемой в Балтийское море, побудили русского посланника иметь новое объяснение с кардиналом. Флёри отвечал, что эскадра не получила еще назначения и в Балтийское море отправлена не будет, если король датский обнадежит, что при начатии войны на севере сохранит нейтралитет Балтийского моря, и если англичане не отправят в то же море своей эскадры; впрочем, король не намерен принимать ни малейшего участия в войне между Россией и Швециею; он, кардинал, особенно жалеет, видя такую горячность со стороны шведской, и по чистой совести может засвидетельствовать, что его советы шведскому министерству клонились к сохранению тишины. Кантемир отвечал, что Россия никак не может принять этих если, ибо Дания и Англия связаны с нею обязательствами союзного договора и потому не могут остаться нейтральными, когда шведы нападут на русские области. Кардинал отвечал, что он уже упомянул о намерении французского двора не принимать участия в войне между Швециею и Россией и Франция тем охотнее будет содержать доброе согласие с Россией, что нет причин к жалобам против русского двора; но английское высокомерие становится нестерпимо, и он без осуждения от всего света не может позволить английскому двору вступаться в дела всей Европы, усиливать свое влияние, стараться повсюду властвовать, поэтому не знает, не будет ли принужден сопротивляться предприятиям англичан на севере. Можно было бы обойти всякое затруднение, остановя отправку английской эскадры в Балтийское море, тем более что русский государь имеет свои морские силы и шведский король подлинно не в состоянии противиться России. Известно, что в последней войне между Франциею и цесарем русское войско было прислано на помощь цесарю и, несмотря на то, между Россией и Франциею разрыва не последовало. На это Кантемир сказал: «Что касается английских поступков, то это дело мне не принадлежит, равно я не вступаю в исследование, как должна в этом случае вести себя Франция; я и прежде никогда не отзывался о французских вооружениях, когда они не касались интересов моего государя; и теперь я не говорю о таких движениях английских, которые не имеют связи с русскими интересами; но судите сами, имеете ли вы право препятствовать поданию помощи России от кого бы то ни было. Дело отправления вспомогательного русского войска покойному цесарю совершенно другое: между Россией и покойным цесарем существовал давний оборонительный союз, и вы сами стали бы порицать русский двор, если бы он не исполнил своих обязательств; но между Франциею и Швециею никакого подобного обязательства нет, как вы мне сами объявили. Потом в последней войне между Франциею и Австриею Франция первая напала, а в войне между Россией и Швециею, если она откроется, первые нападут шведы». Кардинал отвечал, что еще сам не знает, какое примет решение, и начал распространяться о своем миролюбии и жаловаться, что все его труды для сохранения спокойствия в Европе остались тщетными вследствие честолюбия англичан.

В июне Кантемир получил от своего двора приказание внушить кардиналу, что от него одного зависит заключение оборонительного союза с Россией, который нисколько не будет препятствовать подобным договорам России с другими державами. Кантемир отвечал, что нельзя

иметь никакой надежды, чтоб Франция захотела искать пользы России или по меньшей мере захотела союзом с нею ослабить тревогу на севере; напротив, дела зашли так далеко, что по требованию французского интереса Россия должна быть занята защитой своих областей, чтобы не иметь возможности помочь венгерской королеве, против которой во Франции готовят явную войну. «Мне дано знать, – писал Кантемир, – что уже заключен договор между Францией и Пруссией, что французское войско будет отправлено в Баварию, чтоб вместе с тамошним курфюрстом идти в Богемия; что в меморию, где исследуются интересы французского двора, главным основанием положено раздробление австрийских владений; Богемия должна достаться курфюрсту Баварскому, который будет императором, Италия – королю Испанскому и частью Сардинскому, Силезия – королю Прусскому, а часть Нидерландов – самой Франции; для исполнения этого проекта Главным средством поставляется ослабление России и Англии, которые одни в Европе могут помешать ему. Автор мемории советует начать войну против Англии и в Германии, а между тем шведскому двору дать не только субсидии для нападения на Россию, но даже войска и корабли; также постараться устроить союз между Швециею, Даниею и Пруссиею, наконец, возбудить против России турок и персиян и действовать против России до тех пор, пока Россия потеряет все приобретенное ею по Ништадтскому миру».

В августе Кантемир имел свидание с кардиналом по поводу объявления шведами войны против России. Кардинал повторил прежние уверения, что французский двор не принимал никакого участия во всех шведских движениях, что объявление войны считает делом безрассудным, что он не раз представлял шведскому посланнику графу Тессину, что Швеция не может надеяться на успех в войне против России, а на чужую помощь напрасно бы полагалась, но все понапрасну, потому что настоящая война есть дело народной ярости, которую шведское министерство унять не в состоянии; что он, кардинал, должен признаться, что русский двор сделал все для избежания войны. Относительно движения французского войска в Германию Флёрі сказал, что с крайним сожалением должен был согласиться на это в видах предупредить английское нападение и что желал бы кровью своею купить возможность избежания всеобщей войны. Когда Кантемир заметил, что союзники королевы венгерской не делали никаких военных приготовлений, то кардинал с горячностью отвечал: «Не должно думать, чтоб я не знал о том, что в свете делается; я знаю хорошо, какие были виды и намерения англичан, которые, не довольствуясь господством на море, желают предписывать законы Европе и на сухом пути раздавать короны по своей воле; если теперь Англия не действует, то это должно приписать движению французских войск. Впрочем, я сам до сих пор не знаю, к чему наше войско будет употреблено, но объявляю министрам иностранным и от своих французов не скрываю, что как скоро представится случай к полюбовному соглашению, то я его не упущу и сердечно сожалею, что не вижу ни одной державы, которая бы предложила свое посредничество, потому что все в настоящей распре приняли участие. Королева Венгерская – государыня весьма похвальных свойств, о ее несчастьи я сам сожалею; но чрезмерно она своего мужа любит и своим упорным уклонением от мира с Пруссиею привела европейские дела в нынешнее состояние; теперь же о примирении ее с прусским королем нечего и думать, потому что он уже слишком далеко зашел в своих предприятиях». «Понеже, – писал Кантемир, – нынешние здешние поступки довольно показывают, что всякое чувство стыда на сторону отложено, нечаянная перемена во всем случиться может, и для того предосторожность всегда нужна».

Остерман писал Кантемиру в октябре: «Поступки Шетарди так явно недоброжелательны, что мы имеем полную причину желать его отозвания отсюда; только это надобно исходатайствовать таким образом, чтоб французское министерство, при нынешнем своем счастье и без того ни на кого не смотрящее, не получило повода к преждевременному разорванию с нами дипломатических сношений и к сложению вины на нас. Поэтому надобно поступать в этом деле, смотря по тамошним склонностям, министерскому нраву и обращениям дел, и притом на ваше благорассуждение оставляем, не можете ли чрез того благосклонного к вам приятеля, о

котором в реляциях своих упоминаете, тамошнему министерству между прочим искусно внушить, что поступки Шетарди и интриги совершенно открылись, и потому он для французских интересов здесь более уже не может быть полезен и что вследствие его поведения никто не желает с ним знакомства, все избегают его как только можно, без явного озлобления».

Открылась интрига Шетарди; открылось, что он хлопотал об ускорении переворота, о свержении существующего правительства.

Мы видели, что в России были недовольны существующим правительством и это неудовольствие усиливалось и громче высказывалось вследствие слабости правительства, которого не любили и не уважали. Но как и в чью пользу должен был совершиться переворот? Бирон, недовольный отцом и матерью императора Иоанна, грозил им герцогом Голштинским, родным внуком Петра Великого: кто же теперь был настолько могуществен, чтоб действовать в пользу ребенка, жившего далеко, в чужой стороне, привезти этого ребенка в Россию и посадить на престол? У герцога Голштинского была в России родная тетка, дочь Петра Великого, и это было единственное лицо, во имя которого можно было произвести переворот. Мы видели, что в инструкции Шетарди было прямо указано на цесаревну Елисавету, велено выведать о значении ее приверженцев и т.п. Мы довольно часто упоминали об Елисавете при описании царствования Петра II, когда она своим влиянием на племянника не давала покоя людям, боровшимся за волю молодого императора. По восшествии на престол Анны Елисавета, чтоб не возбудить подозрения и гонения императрицы, очень хорошо понимавшей, какую опасную соперницу имеет она в дочери великого дяди, должна была вести себя так, чтоб о ней не было слышно: ей оказывали внешний почет, но зорко следили за ее поведением. Миних по поручению императрицы поместил к ней в дом урядника Щегловитого в качестве смотрителя за домом, и Щегловитый доносил, кто бывал у цесаревны и куда она выезжала; чтоб следить за нею по городу, он нанимал особых извозчиков. Анну не переставал беспокоить внук Петра Великого, маленький герцог Голштинский. «Чертушка в Голштинии еще живет», – обыкновенно говорила она; но понятно, что она должна была рассчитывать на тесную связь между интересами тетки и племянника.

Елисавета была почтительна к императрице, к Бирону. Она сохраняла свою красоту; но уже никто не говорил больше о ее живости и веселости, которые не шли теперь к опальной дочери Петра Великого. Елисавета не могла не знать, что за нею наблюдают, и потому жила скромно, уединенно среди своего маленького двора. Эта полузатворническая жизнь, боязнь принимать живое участие в событиях, боязнь сноситься с важнейшими деятелями государственной жизни, да и самая невозможность сноситься с ними, ибо, конечно, они почтительно удалялись от опальной и потому опасной цесаревны, – все это должно было препятствовать умственному развитию и развитию энергии Елисаветы; десять лет ей предоставлено было жить одним чувством. Указывали на ее фаворитов; но несогласно с характером нашего сочинения упоминать о делах и людях темных, не имевших влияния на ход исторических событий. Мы должны упомянуть о фаворите Елисаветы Алексее Григорьевиче Разумовском, сыне простого козака, взятом в придворные певчие; утверждали, что Елисавета была с ним обвенчана. Разумовский был человек без способностей и без энергии, но, будучи доволен своим выгодным положением, не вмешиваясь в дела, он не вредил никому и ничему, а этого уже было очень много, и мы обязаны отдать честь Разумовскому, сказавши, что он как фаворит представлял противоположность фавориту Анны – Бирону. До нас дошла только одна жалоба на Разумовского – что он был непокоен в хмелю; но, как видно, невыгоду от этого беспокойства чувствовали люди очень близкие, которые умели и вознаградить себя за претерпенное. Из будущих важных деятелей при дворе цесаревны находились двое братьев Шуваловых, Александр и Петр Ивановичи, и Михайла Ларивонович Воронцов. Эти люди уже принадлежали ко второму поколению русских деятелей XVIII века, причисляя к первому поколению Петра Великого, непосредственно им вызванных к деятельности, им воспитанных; Шуваловы с товарищами были

дети тех отцов, которые являются при Петре, некоторые в довольно значительных должностях, но не первостепенных. При дворе цесаревны давно уже занимал видное место медик Лесток. Вызванный при Петре Великом в числе других надобных по своему искусству, иностранец Лесток при Петре же был сослан в Казань по жалобе на неосторожное поведение его с дочерью одного придворного служителя. По возвращении из ссылки он опять является при дворе, и по смерти Екатерины I мы видим его именно при дворе цесаревны Елисаветы. Деятельный, веселый, говорливый, любивший и умевший со всеми сблизиться, всюду обо всем разведать, Лесток был дорогой человек в однообразной жизни двора опальной цесаревны. Но кроме развлечения, которое мог доставлять Лесток в скуке, кроме привычки к человеку, необходимо близкому как медику, Елисавета имела право полагаться на Лестока: когда в начале царствования Анны Миних по иноземству предлагал Лестоку наблюдать за цесаревною и доносить обо всем, Лесток не согласился.

Развлечением, хотя и не совсем приятным, служили для Елисаветы хозяйственные занятия. Она должна была содержать свой двор доходами с имений, находившихся в разных местностях; доходы были незначительны, а расходы большие по необходимости поддерживать значение высокой особы, по необходимости не отпускать с пустыми руками просителей, по необходимости являться прилично к большому двору, при котором господствовала разорительная роскошь. Понятно, что приискание хорошего управителя вотчинами, было делом большой важности для Елисаветы; это всего лучше видно из писем ее к Воронцову, бывшему в Москве в начале 1739 года: «Прошу вас, как приедете к Москве, то имейте старание, чтоб вам прямо спознать Воронина, каков он, понеже я ни на кого такую надежду не имею, как на вас: так как себе верю, понеже много абрабации (апробации) имела. Также и об Чистом прошу уведомиться, каков он, и уведомить меня, понеже немалая остановка имеется... Об Воронине прошу вас призвать к себе и спросить от себя, не будет ли ему обидно, чтоб секретарем у меня быть, понеже он ноне в комиссарах; а я, ей, не знаю, которой у них чин большей. И ежели он вам скажет, что он желает, то можете ему после сказать, что будто вы надеетесь, что вотчины все ему во управление вручатся, и что он вам скажет на сие?»

Нужно было искать хороших людей еще и потому, что смена дурных могла повести к большим неприятностям: человек, навлекший неудовольствие цесаревны, всегда мог быть уверен, что правительство будет смотреть на него с сочувствием, особенно если он не покусится на известия, неблагоприятные для Елисаветы или людей, к ней близких. Вот любопытное прошение Елисаветы императрице Анне, написанное в 1736 году и подписанное: «Вашего и. в-ства послушная раба Елисавет: понеже бывший в моей канцелярии судьей Степан Корницкой, преступя вначале должность христианского закона и забыв показанные от меня ему благодеяния, а наипаче презрев указы вашего и. в-ства, всякие непорядочные дела отправлял, многие взятки с крестьян и с других людей брал и затем упущал доходы, получаемые с деревень, волочил многих челобитчиков, ходя за делами напрасно, и во всю бытность свою ни единого дела к окончанию не привел; посылаемые мои указы в канцелярию, не токмо по оным исполнения чинил, но в одном из оных выскреб написанную речь и, переправя, написал, как ему надобно было для его пользы, которое его преступление великого наказания достойно по указам вашего и. в-ства. Еще в самом следствии о управителе Висинге, на которого показано было на несколько тысяч рублей похищенных денег, делал ему всякое похлебство, брал взятки, и с резолюций моих посылал к нему точные копии, и многие другие бесчисленные продерзости являл. Я велела его взять под караул, чтоб сдал порученные ему дела, и по сем, исследовав о нем, хотела донести вашему и. в-ству, что с ним повелите указом учинить. А оной арест ему для того учинила без соизволения вашего и. в-ства, надеючись на сие, что всякий помещик может так поступать с своим подчиненным, ежели пред ним явится в похищении. И оной Корницкой освобожден по указу вашего и. в-ства чрез генерала Ушакова. И оное мне все сносно, токмо сие чрезмерно чувствительно, что я невинно обнесена пред персоною вашего и. в-ства, в чем не

только делом, но ни самую мыслью никогда не была противна воли и указам вашего и. в-ства, ниже впредь хочу быть. Того ради для оправдания моего пред вашим и. в-ством всепокорнейше прошу всемилостивейше приказать о нем исследовать или его возвратить ко мне, где по окончании следствия о всем нижайше донесу сама вашему и. в-ству». Участие страшного Ушакова в деле показывает, какое значение придавалось ему по крайней мере вначале. Могло быть что Корнищкой позволял себе подобные поступки в надежде на сильное покровительство, будучи агентом Ушакова.

Смерть Анны произвела некоторое изменение в тяжких, натянутых отношениях Елисаветы к большому двору. Правительство оказалось слабым, начались смуты, перевороты. Регент Бирон, рассорившись с отцом и матерью маленького императора, грозит им герцогом Голштинским и с какою бы то ни было целью очень внимателен и любезен к цесаревне Елисавете, увеличивает ее содержание (что, впрочем, советовал и Остерман), оказывает снисхождение к людям, уличенным в преданности дочери Петра Великого. Падение Бирона могло только ухудшить положение Елисаветы, ибо не стало во главе управления человека, к ней расположенного: цесаревна поспешила убрать портрет своего племянника, герцога Голштинского, который повесила было у себя во дворце тотчас по смерти Анны Иоанновны. Собственно, от Анны Леопольдовны нечего было опасаться; но дело не в Анне Леопольдовне: Миних, Остерман – старые злодеи, от которых уже терпела Елисавета; они и всякий другой, кто будет править Россией, поддерживая престол Иоанна VI, будут вместе с тем подозрительно смотреть на Елисавету, следить за нею, и эта подозрительность должна усиливаться с возрастом ее опасного племянника. А между тем обнаруживается всеобщее неудовольствие, и Елисавета не может не заметить, что недовольные обращаются мало помалу к ней, от нее ждут избавления от беспорядочного и ненационального правительства.

Опальное положение, уединенная жизнь Елисаветы при Анне послужили к выгоде для цесаревны. Молодая, ветреная, шаловливая красавица, возбуждавшая разные чувства, кроме чувства уважения, исчезла. Елисавета возмужала, сохранив свою красоту, получившую теперь спокойный, величественный, царственный характер. Редко, в торжественных случаях, являлась она пред народом, прекрасная, ласковая, величественная, спокойная, печальная; являлась как молчаливый протест против тяжелого, оскорбительного для народной чести настоящего, как живое и прекрасное напоминание о славном прошедшем, которое теперь уже становилось не только славным, но и счастливым прошедшим. Теперь же при виде Елисаветы возбуждалось умиление, уважение, печаль; тяжелая участь дала ей право на возбуждение этих чувств, тем более что вместе с дочерью Петра все русские были в беде, опале; а тут еще слухи, что нет добрее и ласковее матушки цесаревны Елисаветы Петровны. Таким образом, с значением дочери Петра Великого соединились теперь большие права, но вместе и большие, страшные обязанности. От нее чего-то ждут, она должна что-то исполнить. Но с кем и как? Самые видные немцы перессорились, губят друг друга и тем дают возможность русским взять верх; но зато и у русских нет человека, который бы мог стать в челе движения, который бы мог, хотя в ночном нападении, как Миних, овладеть Брауншвейгскою фамилиею и провозгласить нового императора или императрицу, герцога Голштинского или тетку его. Елисавета должна была сама стать в челе движения, сама направить народ или войско против нелюбимого правительства. Но как могла решиться на это женщина, прошедшая столько лучших лет жизни в бездействии, робкая, загнанная, привыкшая униженною уклончивостью спасаться от гнева и преследования сильных? Женское ли это дело производить перевороты, свергать правительство, водить войско? Легко понять, что Елисавета будет медлить, ждать человека.

Правительство думало, что Елисавета может взойти на престол с помощью того же человека, который свергнул и Бирона, т.е. Миниха. В январе 1741 года, когда Миних был еще первым министром, майор гвардии Альбрехт призвал аудитора Барановского и объявил ему именной указ: «Должен ты быть поставлен на безызвестный караул близ дворца цесаревны

Елисаветы Петровны, имеешь смотреть: во дворец цесаревны какие персоны мужеска и женска пола приезжают, також и ее высочество куды изволит съезжать и как изволит возвращаться – о том бы повседневно подавать записки по утрам ему, Альбрехту. В которое время генерал-фельдмаршал во дворец цесаревны прибудет, то б того часа репортовать словесно о прибытии его ему ж, майору Альбрехту; а если дома его, Альбрехта, не будет, то отрепортовать герцогу Брауншвейг-Люнебургскому. Французский посол когда приезжать будет во дворец цесаревны, то и об нем репортовать с прочими в подаваемых записках».

После отставки Миниха, когда его еще больше стали бояться, принц Антон поручил секунд-майору Василью Чичерину выбрать до десяти гренадер с капралом, одеть их в шубы и серые кафтаны и наблюдать: если Миних пойдет со двора не в своем платье, то поймать его и доставить во дворец; если же пойдет к цесаревне, то взять уже на возвратном пути от нее. Принцу донесли о разных толках между солдатами и женскою дворцовою прислугою. Рассказывали, что Миних был однажды у цесаревны и, припадши к ее ногам, просил, что если ее высочество ему повелит, то он все исполнить готов. На что Елисавета будто бы сказала ему: «Ты ли тот, который корону дает кому хочет? Я оную и без тебя, ежели пожелаю, получить могу». По другому рассказу, Елисавета отвечала Миниху, что он сам знает, чего ей надобно и на что она имеет право, и потом Елисавета обошлась с Минихом очень милостиво и проводжала до крыльца. Принц Антон в простоте сердечной поверил, что все так было, и говорил английскому резиденту Финчу, что от Миниха надобно отделаться, что он уже предлагал свои услуги Елисавете.

Миних не сблизился с Елисаветою. Он понимал, что вступление на престол Елисаветы будет иметь следствием торжество национального дела, что при ней иностранцу не удастся играть первенствующей роли. Все его симпатии были в пользу Брауншвейгской фамилии; он ждал своего времени, когда вражда принцессы Анны и фрейлины Менгден к принцу Антону и Остерману разгорится до высшей степени и принцесса Анна снова потребует его помощи для низложения ненавистного Остермана. Только брат фельдмаршала, гофмаршал Миних, на всякий случай старался делать всевозможные угождения цесаревне; но братья не жили дружно.

Миних не ездил к цесаревне Елисавете, но французский посланник ездил.

Мы видели, какая инструкция была дана маркизу Шетарди перед отъездом его в Россию; видели, что Елисавета была указана как единственное лицо, в пользу которого нужно было действовать для свержения немецкого правительства и для оттеснения России опять на восток. И Шетарди не спускает глаз с Елисаветы. Во время Биронова регентства ему нечего предпринимать: Елисавета спокойна, довольна быстрой переменой к лучшему в своем положении; ему, видимо, не нравится это заискивание регента у цесаревны, он подозревает его в каких-то дерзких замыслах; с другой стороны, французский посланник не имеет побуждений очень сильно тревожиться: у Бирона нет ни досуга, ни желания помогать Марии Терезии против Франции и Пруссии. Но дело переменялось по свержении Бирона: венский двор получил сильную надежду на помощь от России, а это заставляло Францию, с одной стороны, поднимать Швецию для задержания России, с другой – поднять в России внутренние волнения, затем правительственный переворот, чтоб также занять Россию дома и потом помочь Швеции одержать верх в борьбе, ибо иначе слабая Швеция не могла надеяться на успех; наконец, теперь и Елисавета недовольна, следовательно, более возможности сделать ее доступною внушениям французского посланника. Шетарди уверяет ее в добром расположении к ней своего короля, в готовности его оказать ей помощь. Но эта помощь непосредственно может быть оказана ближайшей державою, Швециею, и потому шведский посланник Нолькен вводится также к цесаревне для необходимых переговоров; для сношений Елисаветы с обоими посланниками вне дворца употребляется Лесток. Нолькен обещает помощь, но требует вознаграждения, требует, чтоб Елисавета на письме обещала вознаградить Швецию при своем восшествии на престол. Елисавета не соглашается дать письменное обязательство. Для Шетарди интерес Швеции не

на первом плане: ему хочется, чтоб как можно скорее произошел переворот, который обеспечит невмешательство России в европейские дела и, следовательно, даст Франции всю свободу распоряжаться ими. Шетарди внушает Лестоку, что Елисавета не должна медлить, что ей должно воспользоваться счастливым расположением, которое начинает выказываться в народе, и не дать русским привыкнуть к настоящему правительству. В разговорах такого рода, разумеется, не отзывались доброжелательно о Брауншвейгской фамилии. Говорилось, что маленького императора намеренно никому не показывают. Лесток уверял, что цесаревна убеждена в этом и нарочно часто навещает малютку и уже позаботилась о средствах знать все, что бы ни случилось с ним. Лесток рассказывал Шетарди, что Иоанн слишком мал для своего возраста, что в нем с некоторого времени обнаружились признаки сокращения нервов, что у него запоры с самого рождения и никакое лекарство не могло возбудить в его организме обыкновенных отпавлений, что малютка непременно умрет от первой сколько-нибудь значительной болезни.

Шетарди знает, что в народе сильное расположение к Елисавете, что можно легко составить партию: но около кого из сильных и способных людей будет составляться эта партия, кто будет ее главою, кто двинет ее в решительную минуту во имя дочери Петра Великого? Елисавета остановилась на Ушакове, объявила Шетарди, что она доверяет преданности страшного начальника Тайной канцелярии и считает его даже расположенным стать во главе ее партии. На основании этих слов Шетарди приглашает Ушакова к себе, чтоб начать сношения, но Ушаков делает неучтивость, не едет к французскому посланнику. В Версале это сильно обеспокоило: там подумали, не открыт ли заговор Елисаветы; притом же узнали, что и Нолькен также беспокоится, потому что Лесток не явился на три назначенные ему свидания. Заговор не был открыт; но и Шетарди находился в большом беспокойстве: врага венского двора – Миниха не было более во главе правительства, следовательно, приходилось удержать Россию от подания помощи Марии Терезии шведскою войною; но Швеции надобно помочь внутренним волнением, надобно заручиться у будущей императрицы вознаграждением Швеции. Елисавета отказывается дать письменное обещание, но если б и согласилась, то Шетарди и Нолькен не знают, в каком смысле должно быть написано это обещание, не знают, чего требовать от Елисаветы. «Мы можем только по догадкам судить о тех предметах, которые были бы более пригодны Швеции», – писал Шетарди. Он считал шведскую войну необходимостью и в то же время считал преждевременным начинать ее летом 1741 года. «Верно, – писал он в марте, – что австрийский дом не имеет более надобности бороться с нерасположением к нему Миниха; что прусский король теряет в последнем усердного приверженца; что влияние венского двора на петербургский будет теперь так сильно, как никогда прежде; что граф Остерман никогда не был так силен, как теперь; что независимо от его привязанности к венскому двору он в Ништадтском договоре обожает свое создание и для поддержания его будет всячески стараться не дать Швеции возможности к усилению. Я заключаю из этого, что никогда не было так нужно для Швеции нанести решительный удар; всякая минута дорога; надобно спешить извлечь выгоды из внутреннего волнения и известного расположения (в России к Елисавете); но не должно и думать о начале дела нынешним летом, разве только будут значительные силы. Ошибочно представляют себе страшилищем Московское государство. Я не скрою выгоды его положения, не скрою, что оно может выставить значительные силы для оборонительной войны, что оно легко может приобретать припасы дешевою ценою, но я убежден, что соединенный датско-шведский флот может легко помешать русскому флоту выйти из гаваней и, следовательно, шведские берега будут безопасны от высадок, которые причинили так много вреда в последнюю войну. Шведы могут действовать с успехом со стороны Выборга, особенно если Дания согласится сделать диверсию небольшим корпусом войск в Эстонии. Этот один план быстро смирит надменность и жестокость русских: порукой в том их характер и политика. За исключением некоторых государств, с которыми они не желают столкновений, они в опьянении от своего величия, которое в том и состоит, что весь свет не может к ним явиться и

они хотят предписывать законы всей Европе. При малейшем поражении они перейдут также быстро из одной крайности в противоположную и будут уважать чрезмерно других. К этим доводам, которые одни заставляют исчезнуть страшилище, прибавьте, что можно легко быть уверену в диверсии со стороны турок, которые могут это сделать без объявления войны; что прусский король, как только представится ему возможность, не может не признать своих интересов, что Пруссия может возвыситься именно как северная держава и возможность произвести враждебное движение против России облегчается нерасположением, которое русский двор вызывает к прусскому королю».

В то время как Франция хлопотала о произведении правительственного переворота в России для отвлечения ее от вмешательства в европейские дела, Англия хлопотала о том, как бы обезопасить существующее правительство и дать ему возможность в союзе с морскими державами помочь Австрии и тем воспрепятствовать видам Франции. Английский министр иностранных дел лорд Гаррингтон 17 марта писал своему резиденту в Петербурге Финчу: «Король получил сведения: шведский тайный комитет ободрен и побужден к вооружению известием от Нолькена, что в Петербурге образовалась сильная партия, которая готова поднять оружие и соединиться с шведами в пользу цесаревны Елисаветы, как только шведские войска покажутся на границах. План окончательно постановлен между ним и агентами цесаревны при содействии Шетарди». Гаррингтон предписывал Финчу противодействовать франко-шведским замыслам, которые в случае удачи отдадут весь Север в распоряжение Швеции и, следовательно, приведут его в полную зависимость от Франции. Финч повез это известие к Остерману и имел случай наблюдать, как хитрец, притворившись, что принимает сообщение совершенно равнодушно, ничему не верит, в то же время старался выведать все малейшие подробности. Но скоро Остерман не почел более нужным притворяться пред английским резидентом по общности интересов. Остерман хорошо знал, что агентом цесаревны при переговорах ее с Нолькеном служит Лесток, которого Нолькен для большего удобства пригласил лечить себя. Остерман спросил мнения Финча, не будет ли полезно арестовать Лестока. Финч отвечал, что не годится это сделать по одному только подозрению, возбужденному сообщенным от него известием; правительство должно действовать по более верным указаниям, иначе Елисавета получит только справедливый предлог к жалобам. У правительства не было более верных указаний; но Остерман сильно беспокоился, особенно по дурным отношениям правительницы к мужу, а следовательно, и к нему. Когда Финч уговаривал его не заниматься так усердно шведскими делами, потому что Швеция только страшит войною, а на самом деле не решится объявить ее, то Остерман отвечал: «Не будь сообщенного вами известия, то мы вовсе не заботились бы о Швеции». По словам принца Антона Финчу, Остерман признавался, что правительство не достигло еще желаемой твердости. Принц хотел сам принять начальство над войском в случае шведской войны, но Остерман не соглашался, боясь, что в его отсутствие Миних с помощью Юлии Менгден опять войдет в силу. Что правительница во всяком случае берегла Миниха, рассчитывала на него, это было ясно. Когда один из друзей Финча сказал при ней, что носится слух, будто Миниху будут возвращены все должности, то она отвечала: «Этому не бывать: любят измену, но не любят изменников; нельзя доверять ему так много, хотя и можно употребить его с пользою для того, чтоб держать людей в страхе и принудить их к исполнению своей обязанности». Кого разумела правительница под этими людьми? Остерман мог думать, что скорее всего она могла разуметь его.

При внутреннем разладе в правительстве, который отнимал у него руки и позволял врагам действовать перед его глазами, оно менее всего могло положиться на войско, которое было на стороне цесаревны. При дворе знали, что по свержении Бирона три гвардейские полка шли ко дворцу в убеждении, что императрицею будет провозглашена их матушка Елисавета Петровна; тот же дух оказался в гарнизонном полку на Васильевском острове и в Кронштадте; здесь опасались восстания, потому что солдаты кричали: «Разве никто не хочет предводи-

тельствовать нами в пользу матушки Елисаветы Петровны?» При дворе знали, как Елисавета любима в гвардии, знали, что цесаревна постоянно крестит детей у гвардейцев, радушно принимает, угощает отцов и матерей своих крестников; у ней был дом (Смольный, или Смоляной, двор) подле гвардейских казарм; в этот дом она часто ездила ночевать, и здесь-то видели ее гвардейские офицеры и солдаты. При дворе говорили в насмешку: «У цесаревны Елисаветы ассамблеи для Преображенских солдат». Правительница считала все это пустяками, не стоящими внимания; но Остерман и, следовательно, покорный ученик его, принц Антон, сильно тревожились. Между тем Шетарди продолжал видаться с Лестоком, который в марте передал ему, что цесаревна очень обижена правительницею. Елисавета просила, чтоб правительство заплатило за нее 32000 долгов, с которыми ей нет возможности разделаться даже и при помощи 50000 рублей, назначенных ей Бироном. В просьбе не отказали, но заподозрили, что деньги нужны для чего-нибудь другого, а не для расплаты с долгом, и потому потребовали, чтоб цесаревна представила счета купцов, которым должна. Елисавета представила счета, и по ним оказалось долгу вместо 32000 сорок три тысячи; принуждены были заплатить лишнее и вдобавок подали повод к раздражению и жалобам.

Елисавета была откровенна и с Нолькеном. Так, она рассказала ему свой разговор с правительницею по поводу отставки Миниха. Анна спросила ее, знает ли она об этом; Елисавета отвечала, что трудно было бы не знать о том, о чем говорит весь город. «А что же говорят в городе?» – спросила Анна. Елисавета отвечала, что вообще удивлены, как это она согласилась на отставку. «Любя вас нежно, – продолжала цесаревна, – не могу скрыть от вас, что вы поступили дурно, тем более что вас обвинят в неблагодарности и вы лишаетесь человека, на которого могли совершенно положиться после того, что он для вас сделал». Тут правительница рассылалась в сожалениях и в оправдание свое приводила только, что она не соглашалась на удаление Миниха от дел, но принц Антон и Остерман не давали ей покою. Рассказавши об этом, Елисавета прибавила: «Надобно иметь мало ума, чтоб высказаться так искренно; она очень дурно воспитана, не умеет жить, и к этому у нее есть еще хорошее качество – быть капризною так же, как и герцог Мекленбургский, ее отец». Елисавета рассказала Нолькеному кое-что и о принце Антоне, именно то, что должно было особенно заинтересовать его и Шетарди по отношениям политическим: сама правительница рассказывала ей, что принц Антон прыгал, как ребенок, когда получил известие о рождении сына у Марии Терезии; он говорил, что это событие тем более имеет значение для России, что оно снова обеспечивает Австрии преимущество сохранить императорскую корону. «Здесь только думают оказать помощь венгерской королеве, – говорила цесаревна, – а между тем сильно боятся Швеции, хотя и скрывают этот страх от правительницы. Я была на днях свидетельницею, как Головкин уверял ее, что никогда Швеция не была так слаба, что в ней ужасная бедность и одна надежда у вас на помощь Франции, у которой у самой денег нет и ей приходится думать о себе только, а не другим помогать». Но когда Нолькен, ободренный такою откровенностью, начинал дело об обязательствах со стороны Елисаветы относительно вознаграждения Швеции за помощь, то она упорно отмалчивалась. Шетарди и Нолькен объясняли эту нерешительность Елисаветы тем, что она советуется с своею партией, которая представляет ей, как она сделается ненавистною в глазах народа, если откроется, что она призвала шведов на Россию, особенно если она должна будет хотя чем-нибудь пожертвовать в вознаграждение за корону; притом же Швецию не для чего побуждать к тому, что она должна сделать для собственных выгод.

Нолькеному не удалось. В апреле сам Шетарди стал убеждать Лестока, что Елисавете необходимо дать шведам письменное обязательство. На уверение посла, что король его заботится только о цесаревне и ее выгодах, Лесток от имени Елисаветы объявил, что она относительно внешних средств полагается совершенно на волю королевскую; относительно же внутренних – ограничивается суммою в 100000 рублей на случай, если б в решительную минуту понадобилось привлечь на свою сторону того или другого. Шетарди отвечал, что король охотно доставит

средства на покрытие издержек, как только будет указано, каким образом можно будет при этом сохранить тайну. Потом посол перешел к настоящему делу: отдаленность препятствует королю действовать непосредственно, он может вооружить только своих союзников, соседей России, т.е. шведов, которые сами хорошо расположены к цесаревне; но у них все зависит от сейма: пусть цесаревна обещает существенные выгоды и этим даст шведскому королю возможность убедить подданных к начатии войны. Лесток отвечал, что цесаревна не скрывает от себя невозможности побудить шведов даром оказать ей помощь. «Итак, – сказал Шетарди, – пусть же она подтвердит то, что считает необходимым; пусть передаст мне на письме, что хотела бы она устроить в случае успеха предприятия. Бумага никогда не выйдет из моих рук. Король, мой государь, уведомленный только о ее содержании, будет в состоянии принять меры убедить шведов, и, когда успех увенчает дело, его величество может взять на себя оценку обещаний принцессы и, ставши посредником между нею и Швециею, укрепит мир, столь необходимый между двумя соседственными государствами. Я так сильно желаю видеть цесаревну в положении, которого она сама может и должна желать, что не скрою от вас ни одной из причин, которые должны побудить ее к исполнению того, что я сказал. Вам не безызвестно, каким образом поступает русский двор с Швециею в продолжение многих лет. Терпение имеет пределы. Предпринятые Швециею вооружения, кажется, доказывают это. Зачем цесаревне допускать, чтобы они принесли пользу другим, а не ей? Не обманывайтесь: правительница, принц Брауншвейгский и граф Остерман чувствуют, что они здесь иноземцы, а правительство такого рода для поддержания себя очень неразборчиво в средствах, мало смотрит на пожертвования, лишь бы отделаться от войны и купить мир у шведов, которые не упустят воспользоваться таким случаем; что из этого выйдет? Цесаревна потеряет все и не будет иметь ни малейшей надежды на будущее. Я пойду далее и скажу вам, что если шведы не вступят заранее в соглашение с цесаревною на прочных основаниях, то они выскажутся в пользу внука Петра I. Не имея в том препятствия, они вернее возведут на престол герцога Голштинского, тогда как Цесаревна увидит себя лишенною принадлежащего ей и удаленною от трона навсегда. Другое соображение, менее важное, но все же могущее иметь влияние на успех ее планов: она довольна стараниями, которые видит с моей стороны, но положение, в которое я поставлен, и встречаемые мною затруднения, вероятно, должны ускорить мой отъезд, и у цесаревны, лишенной и без того помощи, будет менее одним человеком, которому, как доказал опыт, она могла совершенно довериться «.

Сыграно было на всех струнах. Лесток отправился с этими внушениями к Елисавете и в следующее свидание принес ответ, что цесаревна очень тронута доказательствами усердия, постоянно показываемого посланником; она желала бы отплатить ему, следуя его внушениям, но она всегда будет опасаться упреков от своего народа, если для достижения престола нанесет ему ущерб какими-нибудь уступками. Лесток именем Елисаветы спрашивал у Шетарди, нельзя ли будет удовлетворить шведов значительною суммою денег, которая была бы в состоянии вознаградить их за издержки и потери. «Цесаревна надеется, – продолжал Лесток, – что вы войдете в ее положение и согласитесь, что как дочь Петра I она должна соблюдать крайнюю осторожность относительно завоеваний своего отца, стоивших ему так дорого». «Король, – отвечал Шетарди, – хочет одного – видеть цесаревну на престоле – и готов оказать содействие, если только она даст ему возможность к тому. Его величество, как бы ни был рад подать помощь, будет, впрочем, одинаково доволен, каким бы способом цесаревна ни достигла престола. Следовательно, ей надобно обдумать, может ли она этого достигнуть своими собственными средствами. Если может, тем лучше: развязка будет более славна для нее, и помощь иностранная сделается ей бесполезною». «Но как вы хотите, чтоб она сама этого достигла?» – возразил Лесток. «В таком случае, – отвечал Шетарди, – опять дело цесаревны обдумать, может ли она надеяться на счастливый исход дела без помощи шведов. Надобно, чтоб она доставила королю средство служить ей или совершенно отказалась бы от надежды царствовать. Она тем более

должна увериться в этой истине, что не может не признать, как поддается русский народ тяжести слепого рабства, и лишь только она отложит исполнение своего намерения, то этот же народ так привыкнет повиноваться настоящему правительству, что не будет более отличать иноземца, завладевшего властью, от законного государя».

Этими объяснениями переговоры надолго прекратились. Лесток не являлся к Шетарди; а между тем Нолькен получил от своего правительства дозволение на отъезд из Петербурга, с тем, однако, что предварительно достанет от Елисаветы письменное удостоверение, без которого секретный комитет ничего не может сделать. Несмотря на молчание Елисаветы, Шетарди настаивал, что для Швеции необходимо объявить войну; он писал: «Если бы даже шведы не могли ожидать себе помощи изнутри России, то я тем не менее убежден в необходимости для них воспользоваться этою минутою. Россия была очень привержена к австрийскому дому, отныне она будет предана ему окончательно, а если венский двор будет здесь посредственно царствовать, то от этого будет постоянный вред для Швеции и ее союзников. Напротив, если принцессе Елисавете будет проложена дорога к трону, то можно быть убежденным, что претерпенное ею прежде и любовь ее к своему народу побудят ее удалить иностранцев и совершенно довериться русским. Уступая склонности своей и народа, она немедленно переедет в Москву; знатные люди обратятся к хозяйственным занятиям, к которым они склонны и которые принуждены были давно бросить; морские силы будут пренебрежены, и Россия мало-помалу станет обращаться к старине, которая существовала до Петра I и которую Долгорукие хотели восстановить при Петре II, а Вольнский – при Анне. Такое возвращение к старине встретило бы сильное противодействие в Остермане; но со вступлением на престол Елисаветы последует окончательное падение этого министра, и тогда Швеция и Франция освободятся от могущественного врага, который всегда будет против них, всегда будет им опасен. Елисавета ненавидит англичан, любит французов; торговые выгоды ставят народ русский в зависимость от Англии; но их можно освободить от этой зависимости и на развалинах английской торговли утвердить здесь французскую».

Шетарди напрасно старался убедить свой двор в выгодах правительственного переворота в России: версальский двор и без него понимал эти выгоды, понимал, что Елисавете трудно дать обязательство вознаградить Швецию из отцовских завоеваний; но он понимал также, что Швеция может надеяться на успех только в случае движения Елисаветиной партии, а об этом движении Шетарди не мог уведомить. Стали ходить зловещие слухи, что правительство знает о заговоре и медлит только для того, чтоб вернее захватить заговорщиков. Со стороны принца Антона, т.е. со стороны Остермана, явились попытки привлечь гвардейцев на свою сторону благодеяниями. Принц велел позвать к себе капитана Семеновского полка, ревностного приверженца Елисаветы, и в присутствии генерала Стрешнева, зятя Остермана, спросил: «Что с тобою? Я слышу, ты грустишь, разве ты недоволен?» Капитан отвечал, что имеет причины грустить: у него большое семейство и маленькое имение, далеко, около Москвы, что лишает возможности извлекать из него доход. «Я ваш полковник, – сказал на это принц, – и хочу, чтоб вы благоденствовали и были моими друзьями; обращайтесь ко мне с откровенностью, и я всегда буду поступать так, как теперь». При этих словах принц подал ему кошелек с 300 червонцами. Стрешнев был тут недаром: когда капитан вышел от принца, он подошел к нему и начал расхваливать и принца, и жену его, указывал, как вся Европа уважает их, доказательство – такой съезд иностранных министров в Петербурге, какого прежде не бывало; а цесаревна не пользуется уважением ни иностранных государей, ни своего народа, и кто не хочет попасть в беду, тот должен держаться настоящего правительства. Шетарди и Нолькен справедливо заключили, что вся эта история показывает, до какой степени дошли слабость и трусость правительства. Но в их глазах, и в противном лагере не было храбрее. Лесток объявил присланному к нему секретарю Нолькена, что ему нельзя больше бывать у посланника, что как скоро он придет к нему, то будет арестован при выходе; даже у себя, разговаривая с секретарем, он обнаруживал

сильное беспокойство: при малейшем шуме на улице он кидался к окну и считал себя погибшим; про цесаревну говорил, что она должна бояться яда или какого-нибудь насилия. А между тем во Франции сердились на медленность, с какою шло дело в Петербурге; министр писал Шетарди: «Дело Елисаветы нечувствительно клонится к упадку; она действует так, как будто переменила намерение, в чем не смеет, однако, признаться; я не могу скрыть своего опасения, что Елисавета отступит в ту самую минуту, когда шведы приступят к делу; это подвергнет страшной опасности шведские предприятия и чрезвычайно повредит нам; с одной стороны, не будет никакой диверсии в пользу шведов от волнения приверженцев Елисаветы, с другой – нареkania падут на нас, потому что мы побуждали Швецию высказаться и действовать».

Шетарди складывал вину на Нолькена, который подал своему двору слишком много надежд, на робость Лестока и Елисаветы. «Напрасны старания вылечить людей от страха», – писал он. Во второй половине мая один из агентов Нолькена приходил сказать ему, что гвардейские офицеры выходят из терпения и просят выразить цесаревне, что ее молчание удивляет их, что она должна разъяснить им, как они могут услужить ей. В начале июня гвардейские офицеры, подстергая минуту говорить с цесаревною, приступили к ней в Летнем саду, и один начал говорить: «Матушка! Мы все готовы и только ждем твоих приказаний, что наконец велишь нам». «Ради бога молчите, – отвечала Елисавета, – чтоб вас как-нибудь не услышали; не делайте себя несчастными, дети мои, не губите и меня. Разойдитесь, ведите себя смирно: время еще не пришло; я велю вам тогда сказать заранее».

Нолькен уезжал и на прощальной аудиенции у Елисаветы употребил все свое красноречие, чтоб убедить Елисавету дать ему письменное обязательство, совершенно необходимое для него как оправдательный документ, на основании которого он мог решительно говорить в Стокгольме, – и все понапрасну. Елисавета относилась очень холодно к делу, давала заметить, что не помнит хорошенько, в чем оно состоит, что Лесток неясно передавал ей содержание требований Нолькена. Тот с удивлением заметил, что копия, писанная Лестоком месяца три тому назад, находится у нее на руках. Елисавета отвечала, что не знает, где теперь эта бумага. «Подлинник у меня в кармане, – сказал Нолькен, – и в одну минуту дело может быть окончено, потому что стоит только вашему высочеству подписать и приложить свою печать». Но Елисавета отвечала, что теперь она этого не может сделать, потому что тут находится придворный, на которого она не полагается. Отказываясь дать письменное обязательство, цесаревна уверяла Нолькена в своей благодарности Швеции за ее доброе расположение, уверяла, что первые движения с шведской стороны произведут немедленное действие в России, что она ждет только этой минуты, чтоб положить конец предосторожностям, которые принуждена соблюдать теперь. Нолькен хотел убедиться по крайней мере, действительно ли партия Елисаветы сильна и ждет первого движения со стороны шведов: он спросил, точно ли капитан гренадеров, получивший 300 червонных от принца Брауншвейгского, встретил ее несколько дней тому назад на дороге и предлагал ей располагать его ротою; точно ли между 160 гвардейскими офицерами 54 готовы стоять за нее. Елисавета отвечала утвердительно и обещала за себя и за свою партию действовать мужественно, как скоро шведы доставят возможность действовать на верное. На прощание она сказала, что на другой день придет к Нолькену Лесток; посланник надеялся, что медик привезет письменное обязательство; Лесток приехал, но желанной бумаги не привез: привез только письмо для доставления племяннику Елисаветы, герцогу Голштинскому.

Лесток оправдывался пред Нолькеном, уверяя, что исправно передавал все ему поручаемое, но что цесаревна сердилась на него по несколько дней за напоминание о письменном обязательстве, что он не мог настаивать при мысли, что Нолькена могли схватить, несмотря на его посланнический характер, и письменное обязательство, найденное между его бумагами, погубило бы Елисавету и ее приверженцев. Нолькен предложил ему хороший подарок, и Лесток обещал за это употребить последнее усилие и приехать еще раз. Но посланник ждал

его напрасно и выехал из Петербурга 23 июня. Шетарди писал своему двору: «Я действительно полагаю, что ничего нельзя ожидать от приверженцев Елисаветы до тех пор, пока они не увидят, что их поддерживают. Я надеялся и могу надеяться, что они, судя по недовольству и волнениям, здесь царствующим, не изменят своим обещаниям. Трудно будет потом найти подобные обстоятельства, если пропустить их теперь. Признаюсь, однако, что чрезвычайная, слабость принцессы Елисаветы и нерешительность ее относительно людей, к которым она должна была бы иметь всего более доверенности, стоят того, чтоб ее удалить от престола и возвести на него молодого герцога Голштинского. Но это противоречило бы главной цели, ибо в таком случае, пожалуй, одно иностранное правительство заменится другим; тогда как если Елисавета будет на троне, то любезная России старина одержит, вероятно, верх. Быть может (и весьма было бы желательно не обмануться в этом), в царствование Елисаветы при ее летах старина успеет укорениться настолько, что племянник ее привыкнет к ней и когда вступит на престол, то не будет уже иметь понятия ни о чем другом».

Шетарди не обманывался, что в движении в пользу Елисаветы дело шло о национальном интересе, национальной чести, что иностранного правительства больше не хотели; это было так очевидно, что даже иностранцу нельзя было ошибиться. Но француз жестоко обманывался, предполагая, что торжество национального интереса будет иметь следствием возвращение русских к допетровским временам; странно, как он, понимая деликатность Елисаветы относительно отцовских завоеваний, не понимал, что те же самые побуждения заставят дочь Петра сохранять и развивать все сделанное при Петре: в такое странное заблуждение Шетарди мог быть приведен только сильным национальным движением, кидавшимся в глаза, и неумением разобрать, в чем заключалась сущность этого движения.

В июле приверженные к Елисавете гвардейские офицеры были сильно обеспокоены слухами, что цесаревну хотят выдать замуж за брата принца Антона, принца Людовика, назначавшегося, как мы видели, в герцоги Курляндские. Действительно, правительнице было внушено насчет выгод этого брака: с одной стороны, Елисавета будет привязана к Брауншвейгскому дому, с другой – удалена в Курляндию. Но Елисавета объявила, что никогда не выйдет замуж; успокоила на этот счет и офицеров. Правительнице очень тяжело было, однако, расстаться с этим планом; она в это время разрешилась от бремени дочерью Екатериною: лежа в постели после родов, она приняла однажды поутру обер-гофмаршала Левенвольда и наедине говорила ему: «Приехал сюда брат герцога-генералиссимуса, и желается мне его в брачный союз привести с цесаревною Елисаветою; не можете ли вы с тою пропозициею идти к ней?» Левенвольд, зная, что это будет понапрасну, отговорился, что ему неприлично идти с пропозициею; не соизволит ли она сама о том с цесаревною поговорить.

Нолькен, уезжая, передал дело секретарю посольства Лагерфлихту. В конце июля Елисавета дала ему знать, что если шведы будут еще медлить, то расположение умов может измениться; надобно спешить, потому что правительство не щадит ни обещаний, ни наград для приобретения себе приверженцев. Против шведов решено действовать быстро, но этого нечего бояться: русские дадут слабый отпор, как скоро шведы явятся защитниками прав Петра I. Лагерфлихт сейчас же передал это Шетарди, и тот велел отвечать, что если дела идут не так быстро, то виновата она сама: отказавшись подписать обязательство, она лишила тайный комитет в Стокгольме возможности действовать с желаемой быстротою; впрочем, в ее власти поправить дело, поспешив дать письменное обязательство. Елисавета велела отвечать Лагерфлихту, что страх выдать себя и своих, в случае если бы дела пошли дурно, решительно не позволяет ей подписать требования, но что она подпишет, когда дела примут хороший оборот и она будет в состоянии делать это безопасно. Ее обещания заключаются в следующем: 1) вознаградить Швецию за военные издержки, считая со времени первого транспорта войск в Финляндию; 2) давать Швеции субсидии во все продолжение своей жизни; 3) предоставить шведам все торговые преимущества, которыми пользуются англичане; 4) отказаться от всех трактатов и кон-

венций, заключенных между Россиею, Англиею и австрийским домом, и ни с кем не вступать в союзы, кроме Франции и Швеции; 5) содействовать во всех случаях выгодам Швеции и тайно ссужать деньгами, когда она будет в них нуждаться. Донося своему двору об этом, Шетарди писал: «Видно, с каким старанием хотела в этих статьях избежать всякого намека на земельные уступки».

Наконец шведы объявили войну, и Шетарди писал своему двору о внушениях, которые он получил из дворца Елисаветы: «Считают очень важным, чтоб герцог Голштинский был при шведской армии, не сомневаясь, что русский солдат положит перед ним оружие в минуту сражения: так сильно в нем отвращение сражаться против крови Петра I. Думают, что было бы очень полезно публиковать в газетах, что герцог Голштинский в армии или по крайней мере в Швеции. Желают, чтоб между войсками и внутри страны было распространено письмо, в котором бы указывалось на опасность для религии при иноземном правлении». Шетарди требовал также, чтобы шведы издали прокламацию, что они восстали для поддержки прав потомства Петра I. В конце августа Шетарди имел разговор с Елисаветою на придворном балу. Недалеко стоял принц Людвиг Брауншвейгский, и Елисавета начала насмешками над ним и выходками против мысли выдать ее за него замуж. «Эти люди, – говорила она, – думают, что у других нет глаз, когда сочиняют такие прекрасные проекты; сами-то слепы: правительница говорила мне недавно шутя, что, без сомнения, скоро будут думать, что граф Линар и девица Менгден сделаются новыми герцогом и герцогинею Курляндскими». Елисавета жаловалась на высокомерный тон, который уже принял Линар, на оскорбительные поступки с нею: так, за обедом при дворе по случаю дня рождения императора принц Антон и брат его были посажены за стол обер-гофмаршалом, а она – простым гофмаршалом. Цесаревна объявила Шетарди, что ее партия увеличивается и в числе самых усердных приверженцев своих она может считать всех князей Трубецких и принца Гессен-Гомбургского, что в Ливонии все недовольны и преданы ей, что, судя по расположению умов, предприятие будет иметь счастливый успех.

Через несколько времени после этого Шетарди в лесу под Петербургом имел свидание с поверенным цесаревны, который объявил ему, что все гвардейские солдаты, отправленные в поход, привержены к Елисавете. Она приказала каждому из них дать по 5 рублей, и на замечание относительно такой щедрости она выразила правительнице крайнее удивление, что считают новостью то, что она делала открыто во все времена для тех солдат, у которых крестила детей. Поверенный заметил Шетарди, что хотя цесаревна для покрытия этих издержек удержала жалованье у всех своих придворных, но денег у нее все же нет, тогда как в настоящие минуты надобно быть щедрою, поэтому цесаревна была бы очень обязана королю, если б он мог ссудить ее 15000 червонных. Шетарди немедленно мог выдать только 2000. Потом поверенный стал перечислять людей, недоброжелательных к цесаревне, и больше всего дурно отзывался об Остермане; из его слов можно было видеть, что с восшествием на престол Елисаветы тот лишится всех своих должностей: цесаревна видела в нем человека неблагодарного, позабывшего, что он обязан всем ее отцу и матери. Наоборот, Бирон должен ожидать всего хорошего при перемене правительства. Шетарди был очень рад слышать о дурном расположении цесаревны относительно Остермана, но ему не понравилось слишком доброе расположение ее к Бирону. Превознося благодарность Елисаветы как признак прекрасной души, он начал, однако, внушать поверенному, что будет совершенно достаточно, если Елисавета возвратит свободу Бирону, даст ему средства жить прилично и спокойно в каком-нибудь русском городе, даже возьмет детей в службу; но она повредит себе, возбудив сильное неудовольствие, если захочет снова приблизить его ко двору. Поверенный заметил, что цесаревна и сама хочет только ограничиться тем, что советует посланник. Таким образом, Елисавета с своими приближенными уже толковала о том, как, сделавшись императрицею, накажет людей, к ней нерасположенных, и наградит тех, которые заслужили ее благодарность. Следовательно, надежда сменяла страх, и можно думать, что страх нарочно усиливали пред Нолькеном и Шетарди, чтоб отговориться

от неприятных объяснений по известным обязательствам, требуемым Швециею. Надежду поддерживала слабость правительства, доказательством которой служил явный ропот, вольные суждения о его действиях. Шведская война в народе, миролюбивом по преимуществу, как русский, сильно увеличила неудовольствие, которое особенно должно было пасть на Остермана, не умевшего сохранить мир, и обычным припевом ропота служило то, что от иностранца нечего ждать хорошего для России, что Остерман брал деньги с иностранных дворов. Шведской войны не было бы, если б Остерман следовал системе Петра Великого, заключил тесный союз с Франциею и Пруссиею: тогда нечего было бы бояться ни шведов, ни турок. Теперь шведская война, когда еще не оправились после турецкой; турки могут опять подняться, пожалуй, поднимутся и персияне, а башкиры и калмыки воспользуются этим, чтоб свергнуть русское подданство. Что же из всего этого выйдет? То, что, может быть, завтра вместо Антоновича будет на престоле внук Петра Великого: это уже тем выгоднее, что герцог Голштинский на возрасте, через три года может царствовать сам. Недовольные сравнивали настоящее с недавним прошедшим, с царствованием Анны, с бироновщиною, и находили возможность отдавать преимущество этому прошедшему: тогда кадили только двум идолам, а теперь обязаны кадить дюжине. Правительница с своими фаворитами и фаворитками уничтожает то, что делает ее муж с Остерманом, эти оплачивают тем же. Правительница становится день ото дня неприступнее, а цесаревна Елисавета принимает так, что, войдя к ней, не хочется уйти. Хорошего впереди ждать нечего, правительница не терпит мужа: часто Юлия Менгден запрещает ему входить в комнату принцессы. Других бегают от дикости: правда, что дика, и мать бивала ее за дикость; с одним Линаром не дика. Линар женится на Юлии Менгден; но и Бирон женился на девице Трейден; разница в том, что дети Бирона, Петр и Карл, хотя были дети Анны, но до России им не было никакого дела, а теперь, быть может, русский престол достанется Линаровым детям.

Но вот война, возбудившая такое неудовольствие, идет успешно: шведы разбиты при Вильманштранде. Правительство торжествует; во дворце Елисаветы сильное раздражение против подобных союзников, против Нолькена, который обманул, не сделал ничего: герцога Голштинского нет при шведской армии, нет манифеста, что шведы действуют в пользу потомства Петра Великого, а манифест имел бы громадный успех. Елисавета обратилась к Шетарди за подробностями о Вильманштрандской битве: нет ли каких обстоятельств, которыми можно было бы воспользоваться для успокоения ее приверженцев. Шетарди успокаивал тем, что шведов было очень мало, что не следует приходить в отчаяние от первой неудачи и предполагать, что вдруг можно было сделать все то, что было условлено с Нолькеном. В половине сентября Елисавета виделась сама с Шетарди: она начала разговор благодарностью Людовику XV за ссуду 2000 червонных, просила уверить короля, что она во всю жизнь свою постарается доказывать ему свою благодарность и просит его содействия для окончания дела. Шетарди уверял ее в помощи своего короля, но требовал, чтоб она и сама помогала делу, чтоб ее партия действовала. «Действия моих приверженцев будут безуспешны, – отвечала Елисавета, – пока с шведской стороны не будет сделано всего того, что обещано. Русский народ способен к привязанности и самоотвержению, но его трудно заставить решиться. Чтоб побудить его к решительному действию, всего лучше издать манифест, что шведы идут на помощь потомству Петра Великого. Король также должен убедить Швецию, чтоб в ее войске находился герцог Голштинский. Офицеры и солдаты, отправлявшиеся в Финляндию, высказывали на этот счет необыкновенное одушевление; чтоб оставить их в уверенности относительно присутствия герцога в шведском войске, я говорила им, чтоб не убивали по крайней мере моего племянника. Он возбуждает живейшие беспокойства правительницы, как бы она ни старалась скрывать их. Вот что случилось накануне отъезда Линара в Саксонию. Он присутствовал на совещании, бывшем у Остермана. Принц Антон, возвратившись оттуда, сначала все глубоко вздыхал, а потом громко сказал, что напрасно не следовали советам Линара. Эти советы состояли в том, чтоб подвергнуть меня допросу насчет тайных сношений с Швециею и во всяком случае заставить меня

подписать отречение от престола. Но в этом *случае* правительница оказалась рассудительнее их. «К чему это послужит, – отвечала она также со вздохом, – разве нет там чертенка (разумея герцога Голштинского), который будет всегда мешать нашему спокойствию?»»

В конце разговора Шетарди спросил Елисавету, говорила ли ей пять или шесть месяцев тому назад госпожа Каравак (жена придворного живописца) о браке. Елисавета отвечала, что эта женщина действительно бывает у нее, но никогда не имела случая делать ей подобные предложения. «Но какой же это брак?» – «С французским принцем», – отвечал Шетарди. «Я могу вас уверить, – сказала Елисавета, – что это пустой слух, нет ни одного слова правды. Вы должны быть тем более уверены в том, что я давно решила никогда не выходить замуж и тем менее буду слушать предложения Каравак, что было бы неблагоприятно обижать правительницу и ее мужа, потому что я прямо отвергла довольно глупое предложение, сделанное мне принцем Людовиком Брауншвейгским». «Это было сказано так определенно, что не представлялось возможности настаивать», – писал Шетарди. Французский жених был принц Конти.

Толкуя с Шетарди об осторожности, с какою обязана была поступать, Елисавета под влиянием своего нового положения и слабости правительства не могла иногда сдерживаться. Так, в октябре она не могла сдержаться относительно Остермана, которого считала главным своим врагом, которого боялась как самого умного приверженца настоящего правительства, следовательно, как самого способного повредить ей; ненависть была слишком велика к человеку, обязанному всем отцу и матери и более всех вредившему дочери; страстная натура брала верх над благоразумием, заставлявшим не высказывать своих чувств врагу, еще сильному. Персидский посланник привез дары всем членам царского дома и желал вручить их лично; но ему не позволили этого сделать относительно Елисаветы. Та сильно обиделась и, приписывая дело Остерману, сделала против него жестокую выходку пред гофмаршалом Минихом и генералом Апраксиным, которые явились к ней с дарами: «Скажите графу Остерману: он мечтает, что всех может обманывать; но я знаю очень хорошо, что он старается меня унижать при всяком удобном случае, что по его совету приняты против меня меры, о которых великая княгиня по доброте своей и не подумала бы; он забывает, кто я и кто он, забывает, чем он обязан моему отцу, который из писцов сделал его тем, что он теперь; но я никогда не забуду, что получила от бога, на что имею право по моему происхождению». Эта выходка произвела сильное впечатление; иностранные министры поспешили передать о ней своим дворам.

Елисавета могла безнаказанно делать выходки против Остермана: человек, которого недавно величали царем всероссийским, должен был теперь бороться за сохранение своего значения и при настоящем правительстве. Главный враг его граф Головкин не был опасен по своей недаровитости, болезненности и отсутствию энергии; но Головкину помогали другие: генерал-прокурор князь Трубецкой и австрийский посланник Ботта, который, видя, что Остерман холодно относится к интересам Марии Терезии, передался на сторону Головкина и сделался его гувернером, по выражению английского посланника Финча. Но борьба с Остерманом была трудна, особенно в такое смутное время; и как прежде Бирон для противодействия Остерману ввел в Кабинет сперва Волынского, а потом Бестужева, так и теперь партия, противная Остерману, для той же цели решается призвать снова Бестужева. В движении против Остермана, который «запечатал Камень веры», Головкин и Трубецкой нашли верного союзника в новгородском архиепископе Амвросии Юшкевиче; всем вместе удалось уговорить правительницу возвратить Бестужева из ссылки. И вот Алексей Петрович снова в Петербурге и прежде всех иностранных министров делает визит маркизу Ботта.

Между тем одно из желаний Елисаветы было исполнено: Шетарди привез ей манифест, изданный шведским главнокомандующим графом Левенгауптом для «достохвальной русской нации», которой объявлялось, что шведская армия вступила в русские пределы только для получения удовлетворения за многочисленные неправды, причиненные шведской короне *иностранными* министрами, господствовавшими над Россией в прежние годы, для получения

необходимой для шведов безопасности на будущее время, а вместе с тем для освобождения русского народа от несносного ига и жестокостей, которые позволяли себе означенные министры, чрез что многие потеряли собственность, жизнь или сосланы в заточение. Намерение короля шведского состоит в том, чтоб избавить достохвальную русскую нацию для ее же собственной безопасности от тяжкого чужеземного притеснения и бесчеловечной тирании и предоставить ей свободное избрание законного и справедливого правительства, под управлением которого русская нация могла бы безопасно пользоваться жизнью и имуществом, а со шведами сохранять доброе соседство. Этого достигнуть будет невозможно до тех пор, пока чужеземцы по своему произволу и для собственных целей будут господствовать над русскими и их соседями-союзниками. Вследствие таких справедливых намерений его королевского величества должны и могут все русские соединиться со шведами, и, как друзья, отдаваться сами и с имуществом под высокое покровительство его величества, и ожидать от его высокой особы всякого сильного заступления.

Елисавета очень обрадовалась манифесту, но в противном лагере он, разумеется, произвел противоположное действие. Обер-гофмаршал Левенвольд услышал об нем от принца Антона, а потом, когда приехал к Остерману, то хозяин прочел его ему и начал рассуждать, что в манифесте о чужестранных весьма противно написано и что это не до одних чужестранных касается, но и до принцессы Анны и всей фамилии; другого теперь делать нечего, как лучшую военную предосторожность взять, и надобно определить, что, где такие манифесты явятся, в народе их не разглашать, а собирать в Кабинет, и чтоб он, Левенвольд, донес об этом правительнице. Левенвольд согласился. При свидании с правительницею она спросила его, слышал ли про манифест. Левенвольд отвечал, что слышал и что он о чужестранных, о министерстве и о незаконном наследстве очень остро написан и касается самой фамилии, причем упомянул о мере против распространения манифестов, указанной Остерманом. Принцесса сказала на это: «Правда, очень остро писан», и тем дело кончилось. Остерман, однако, не позабывал о манифесте: от имени русского главнокомандующего он написал письмо к Левенгаупту, что манифест, подписанный его именем, оставлен в деревне шведским отрядом; по всему видно, что манифест выдан подложно под его именем, потому что такие манифесты между христианскими и политическими народами не в употреблении. Член Иностранной коллегии и правая рука Остермана, Бреверн принес это письмо Левенвольду, с тем чтоб тот отдал его правительнице. Анна Лоопольдовна, взявши письмо, сказала: «Хорошо» – и оставила его у себя.

Остерман напрасно беспокоился насчет манифеста; цесаревна Елисавета напрасно радовалась ему: нет сомнения, что он не произвел бы никакого действия, если бы даже и был распространен.хлопоты о манифесте, хлопоты о присутствии молодого герцога Голштинского при шведском войске происходили со стороны Елисаветы от желания, чтоб дело началось как-нибудь и именно началось в войске. Мы уже упоминали, в каком затруднительном положении находилась она: у нее было множество приверженцев, за нее была гвардия, и, однако, не было человека, который бы стал во главе движения, сделал бы для нее, во имя ее то, что сделал Миних для Анны Леопольдовны. Елисавета должна была сама начать дело, сама вести солдат: легко понять, как ей трудно было на это решиться, как она должна была медлить и ждать, не начнут ли другие, не встанет ли войско в Финляндии, возбужденное манифестом или присутствием внука Петра Великого в шведской армии. Но долее медлить было нельзя. 23 ноября в понедельник был обыкновенный прием (куртаг) во дворце; Шетарди заметил, что правительница, долго ходив взад и вперед, отправилась в отдаленную комнату, куда велела позвать Елисавету, которая, возвращаясь оттуда, имела взволнованный вид. На другой день поверенный сообщил Шетарди, что разговор, так взволновавший цесаревну, шел об нем: описавши его самыми черными красками, Анна объявила, что решилась просить короля об его отозвании из Петербурга, и внушала Елисавете, что она не должна более принимать такого человека. Елисавета отвечала, что это ей трудно сделать: можно сказать посланнику раз, два, что ее нет

дома, нельзя сказать этого в третий раз; вчера, например, Шетарди подъехал к ее дому в ту самую минуту, когда она, выйдя из саней, входила к себе. Правительница, не обратив внимания на эту отговорку, продолжала настаивать на своем. Тогда Елисавета сказала: «Можно сделать гораздо проще: вы правительница, прикажите Остерману сказать Шетарди, чтоб не ездил ко мне более». Правительница отвечала, что так нельзя сделать, нельзя раздражать таких людей, как Шетарди, и подавать им явный повод к жалобам. Елисавета возразила, что если Остерман, будучи главным министром, имея повеление правительницы, не смеет этого сделать, то она, цесаревна, тем менее решится на это. Правительница, раздосадованная противоречием, приняла повелительный тон; Елисавета в свою очередь возвысила голос.

Разговор этот трудно выдумать: по всем вероятностям, он был веден на самом деле и был передан Шетарди исключительно так, как всего более должен был интересоваться его. Но, как видно, была вторая половина разговора, которая должна была гораздо сильнее взволновать Елисавету; по другим известиям, правительница сказала ей: «Что это, матушка, слышала я, будто ваше высочество имеете корреспонденцию с армиею неприятельскою и будто ваш доктор ездит к французскому посланнику и с ним факции в той же силе делает; в письме из Бреславля советуют мне немедленно арестовать лекаря Лесток; я всем этим слухам о вас не верю, но надеюсь, что если Лесток окажется виноватым, то вы не рассердитесь, когда его задержат». Елисавета отвечала: «Я с неприятелем отечества моего никаких альянцев и корреспонденций не имею, а когда мой доктор ездит до посланника французского, то я его спрошу, и как он мне донесет, то я вам объявлю».

Это был первый серьезный разговор с правительницею, из которого Елисавета должна была понять всю опасность своего положения. Если уже Анна Леопольдовна решилась высказаться, то чего ждать со стороны Остермана; правда, Анна Леопольдовна в разладе с мужем и Остерманом; но общая беда легко может их соединить, и правительница в своих решениях против Елисаветы будет точно так же оправдываться, как и в решениях против Миниха: «Муж и Остерман не давали мне покоя». Лесток возьмут, станут пытать, и чего он тогда не наскажет на себя и на Елисавету! Таким образом, разговор с правительницею 23 ноября должен был побудить Елисавету действовать; событие следующего дня не оставило ей возможности сколько-нибудь еще промедлить своим движением.

24 ноября в 1 часу пополудни правительство отдало приказ по всем гвардейским полкам быть готовыми к выступлению в Финляндию против шведов на основании, как говорили, полученного известия, что Левенгаупт идет к Выборгу; но во дворце Елисаветы поняли так, что правительство нарочно хочет удалить гвардию, зная приверженность ее к цесаревне, и люди близкие, Воронцов, Разумовский, Шувалов и Лесток, начали настаивать, чтоб Елисавета немедленно с помощью гвардии произвела переворот. Легко понять, чего стоило женщине, не привыкшей к деятельности, уступить этим настояниям. Елисавета представляла своим советникам всю опасность предприятия, на что Воронцов сказал: «Подлинно, это дело требует немалой отважности, которой не сыскать ни в ком, кроме крови Петра Великого». Эти слова могли подстрекнуть самолюбие Елисаветы; но надобно признать, что Елисавета, согласившись вести гвардию, действительно доказала, что она дочь Петра Великого. Разумеется, больше всех торопил Лесток, который каждую минуту ждал, что придут арестовать его; он требовал, чтоб немедленно было послано за гренадерами. После, уже будучи в изгнании, он рассказывал одному французскому путешественнику, будто Елисавета никак не соглашалась начать дело и он убедил ее тем, что показал две картинки, нарисованные наскоро на игральных картах: на одной была представлена Елисавета в монастыре, где ей обрезают волосы, на другой – вступающею на престол при восторгах народа; Лесток предложил ей на выбор то или другое, и Елисавета выбрала последнее. Лесток мог рисовать подобные картинки на картах: это было совершенно в его духе; но, разумеется, Елисавета в решительную минуту не имела нужды в таком детски наглядном убеждении: она давно знала, что ей грозят монастырем.

Послали за гренадерами; те явились между 11 и 12 часами ночи и сами первые объявили Елисавете, что должны выступить в поход и потому не будут более в состоянии служить ей, и она совершенно остается в руках своих неприятелей, так нечего терять ни минуты. На вопрос Елисаветы, может ли она на них положиться, гренадеры отвечали клятвенными уверениями в преданности. Елисавета заплакала, велела им выйти из комнаты, а сама начала молиться на коленях пред образом Спасителя; есть известие, что в эту-то страшную минуту она дала обещание не подписывать никому смертных приговоров. Помолившись, она взяла крест, вышла к гренадерам и привела их к присяге, сказавши: «Когда бог явит милость свою нам и всей России, то не забуду верности вашей, а теперь ступайте, соберите роту во всякой готовности и тихости, а я сама тотчас за вами приеду». Был уже второй час пополудни 25 ноября, когда Елисавета, надев кирасу на свое обыкновенное платье, села в сани и отправилась в казармы Преображенского полка в сопровождении Воронцова, Лестока и Шварца, своего старого учителя музыки. Приехавши в гренадерскую роту, извещенную уже заранее о ее прибытии, она нашла ее в сборе и сказала: «Ребята! Вы знаете, чья я дочь, ступайте за мною!» Солдаты и офицеры закричали в ответ: «Матушка! Мы готовы, мы их всех перебьем». Озадаченная таким диким выражением усердия, Елисавета сказала: «Если вы будете так делать, то я с вами не пойду». Умерив этими словами излишнее усердие, Елисавета велела разломать барабаны, чтоб нельзя было произвести тревоги, потом взяла крест, стала на колени, а за нею и все присутствующие, и сказала: «Клянусь умереть за вас; клянетесь ли умереть за меня?» «Клянемся», – прогремела толпа. «Так пойдемте же, – сказала Елисавета, – и будем только думать о том, чтоб сделать наше отечество счастливым во что бы то ни стало».

Елисавета отправилась из казармы в Зимний дворец; она ехала в санях, окруженная гренадерами. Действия Миниха при аресте Бирона служили примером: мало было арестовать Брауншвейгскую фамилию, нужно было прежде или по крайней мере одновременно арестовать людей, к ней приверженных, могших быть опасными для возникающей власти. Начали с Миниха: с дороги отправлен был отряд арестовать его в его доме, где караульный унтер-офицер был уже предупрежден. Проходя Невским проспектом, арестовали графа Головкина и барона Менгдена. Достигши конца проспекта, послали 20 гренадер объявить домовый арест обер-гофмаршалу Левенвольду и его клиенту морскому генерал-комиссару Лопухину, тогда как 30 других гренадер отправлены были арестовать Остермана. Здесь, на конце Невского проспекта, когда уже стали приближаться к Зимнему дворцу, гренадеры посоветовали Елисавете для избежания шума выйти из саней и идти пешком; но едва она сделала несколько шагов, как они стали говорить ей: «Матушка! Так не скоро дойдем, надобно торопиться». Елисавета ускорила шаги, но без привычки ходить скоро никак не могла поспеть за гренадерами. Тогда они взяли ее на руки и донесли до дворца.

Здесь Елисавета отправилась прямо в караульную, где солдаты спросонку, не будучи предупреждены, не знали сначала, что такое делается. «Не бойтесь, друзья мои, – начала им говорить цесаревна, – хотите ли мне служить, как отцу моему и вашему служили? Самим вам известно, каких я натерпелась нужд и теперь терплю и народ весь терпит от немцев. Освободимся от наших мучителей». «Матушка, – отвечали солдаты, – давно мы этого дожидались, и что велишь, все сделаем». Но четыре офицера по недоумению или нежеланию не высказались одинаково с солдатами; тогда Елисавета велела арестовать их, причем должны были схватить ружье у одного солдата, который направил было штык на офицера. Покончивши в караульне, Елисавета отправилась во дворец, где не встретила никакого сопротивления от караульных, кроме одного унтер-офицера, которого сейчас же и арестовала. Войдя в комнату правительницы, которая спала вместе с фрейлиною Менгден, Елисавета сказала ей: «Сестрица, пора вставать!» Правительница, проснувшись, сказала ей: «Как, это вы, сударыня!» Увидавши за Елисаветою гренадер, Анна Леопольдовна догадалась, в чем дело, и стала умолять цесаревну не делать зла ни ее детям, ни девице Менгден, с которою бы ей не хотелось разлучаться. Ели-

совета обещала ей все это, посадила ее в свои сани и отвезла в свой дворец, за ними в двух других санях отвезли туда же маленького Иоанна Антоновича с новорожденною сестрою его Екатериною. Рассказывали, что Елисавета, взявши свергнутого ею императора на руки, целовала и говорила: «Бедное дитя! Ты вовсе невинно; твои родители виноваты».

Дворец цесаревны наполнился гостями: привезли принца Антона вместе с его приятельницею фрейлиною Менгден; привезли еще двоих друзей – Миниха и Остермана, которым обоим досталось от солдат во время арестования: Миниху за то, что его сильно не любили солдаты; Остерману за то, что он вздумал сопротивляться словами: хотел испугать солдат, что они жестоко пострадают за свой поступок, причем неучтиво отозвался об Елисавете. Вздумали сопротивляться президент Менгден с женою и также были избиты солдатами. В домах под арестом остались: незванный жених принц Людвиг Брауншвейгский, граф Головкин с женою и сестрою графинею Ягужинскою, графиня Остерман с детьми и братьями Стрешневыми, камергер Лопухин с семейством и генерал Альбрехт. Елисавета велела призвать принца Гессен-Гомбургского и поручила ему ведать военные силы Петербурга и охранять с ними порядок. Двадцать гренадер сели на лошадей и поскакали в разные концы города для сбора остальных гвардейских полков; Воронцов, Лесток и Шварц отправились на санях с гренадерами к знатнейшим лицам, духовным и светским, с вестью о случившемся событии и с приглашением ехать немедленно во дворец цесаревны. Фельдмаршал Леси явился сейчас же с уверениями в готовности служить крови Петра Великого; приехал и другой фельдмаршал, князь Трубецкой, адмирал Головин. Явились и статские чины – канцлер князь Черкасский, обер-шталмейстер князь Куракин, генерал-прокурор князь Трубецкой, кабинет-секретарь Бреверн, самый доверенный человек Остермана, но не хотевший теперь разделять участи своего милостивца, Алексей Петрович Бестужев-Рюмин. Черкасский, Бревен и Бестужев занялись сочинением следующего манифеста:

«Божиею милостию мы, Елисавет Первая, императрица и самодержица всероссийская, объявляем во всенародное известие: как то всем уже чрез выданный в прошлом, 1740 году в октябре месяце 5 числа манифест известно есть, что блаж. памяти от великие государыни императрицы Анны Иоанновны при кончине ее наследником всероссийского престола учинен внук ее величества, которому тогда еще от рождения несколько месяцев только было, и для такого его младенчества правление государственное чрез разные персоны и разными образы происходило, от чего уже как внешние, так и внутри государства беспокойства, и непорядки, и, следовательно, немалое же разорение всему государству последовало б, того ради все наши как духовного, так и светского чинов верные подданные, а особливо лейб-гвардии нашей полки, всеподданнейше и единогласно нас просили, дабы мы для пресечения всех тех происшедших и впредь опасных беспокойств и непорядков, яко по крови ближняя, отеческий наш престол всемилостивейше воспрять соизволили и по тому нашему законному праву по близости крови к самодержавным нашим вседражайшим родителям, государю императору Петру Великому и государыне императрице Екатерине Алексеевне, и по их всеподданнейшему наших верных единогласному прошению тот наш отеческий всероссийский престол всемилостивейше воспрять соизволили, о чем всем впредь со обстоятельством и с довольным изъяснением манифест выдан будет, ныне же по всеусердному всех наших верноподданных желанию всемилостивейше соизволяем в том учинить нам торжественную присягу».

К 8 часам утра манифест, форма присяги, форма титулов – все было готово. Елисавета надела Андреевскую ленту, объявила себя полковником трех гвардейских пехотных полков, конной гвардии, кирасирского полка и приняла поздравление особ высших классов; потом вышла на балкон и была встречена громким восклицанием народа; несмотря на жестокую стужу, прошла и между рядами гвардии, после чего, возвратившись во дворец, принимала знатных дам. В начале 3 часа новая императрица с торжеством переехала из своего старого дома в Зимний дворец и, немного отдохнув, отправилась в церковь к молебну; тут окружили

ее Преображенские гренaдеры и стали говорить: «Ты, матушка, видела, как усердно мы сослужили тебе свою службу; за это просим одной награды – объяви себя капитаном нашей роты, и пусть мы первые присягнем тебе». Елисавета согласилась.

Большинство ликовало, но были и недовольные, те, которых интересы были связаны с интересами пaдшего правительства или по крайней мере людей, пaдших с ним вместе. Мы уже встречались с князем Яковом Шаховским, видели его отношения к Бирону. Похвалы Волынского, с которым он сблизился, оттолкнули от него Бирона; Волынский обещал ему сенаторство, но после гибели его Шаховской должен был довольствоваться местом советника главной полиции. Сделавшись регентом и желая усилить себя способными людьми, Бирон вспомнил о Шаховском и сделал его управляющим полицией; когда новопожалованный благодарил герцога, тот сказал ему: «Вот, князь Шаховской! Я не забыл дружбу дяди твоего и что я тебя любил; а ты променял было меня на Волынского. Но я все забыл, и будьте уверены, что я всегдашний ваш доброжелатель». Шаховской наивно отвечал: «Мне весьма было надобно благоклонность к себе Волынского честными поведениеми сыскивать: понеже кабинет-министр, который первейшие государственные дела производит, поверенность и всегдашний к монархине с своими советами доступ имеет, всегда в состоянии просветить или затемнить тех службы и добрые поведения, которые еще далеко за их спинами находятся». Бирон показал благоклонный вид. Падение Бирона понизило Шаховского из начальника полиции в товарищи его, но ненадолго: князь Яков приходился сродни жене графа Головкина, который приблизил его к себе и доставил сенаторское место. День 24 ноября молодой сенатор провел у Головкина по случаю именин жены его: «В обеде, так и в ужине более ста обоего пола персон, а по большей части из знатных чинов и фамилий торжествовали, употребляя во весь день между обеда и ужина, также и потом в веселых восхищениях танцы и русскую пляску с музыкою и песнями, что продолжалось с удовольствием до первого часа, за полночь по домам разъехались. Что ж до меня касалось, то и я уже тут весь же день, как домашний, иногда в потчевании знатнейших гостей, в числе коих и все иностранные министры были, то по несколько хозяину, одному в своей комнате с болезнями борющемуся, компанию делал». Шаховской, возвратясь от Головкина, заснул в приятных мыслях, что он уже сенатор и любимец «многомогущего министра» и потому может надолго считать себя счастливым и безопасным от всяких злоключений; но был разбужен стуком в ставень спальни и криком сенатского экзекутора, чтоб ехал как можно скорее во дворец цесаревны, которая изволила принять престол российского правления. Шаховской вскочил и сперва подумал, не сошел ли экзекутор с ума, но скоро увидел, что народ толпами бежит по направлению ко дворцу Елисаветы. Шаховской отправился туда же.

Несмотря на то что ночь была темная и мороз большой, улицы были наполнены людьми, полки гвардии шеренгами стояли в ближних ко дворцу улицах и раскладывали огни от стужи, а другие потчевали друг друга вином, и среди шума разговоров громко раздавались восклицания: «Здравствуй, наша матушка императрица Елисавета Петровна!» Шаховской должен был оставить карету и пешком продираться сквозь толпу с учтивым молчанием, слыша более грубых, чем ласковых слов. В дверях дворца увидел он товарища своего сенатора князя Алексея Дмитриевича Голицына; сенаторы спросили друг друга, как это сделалось, и оба отвечали – не знаю. Протеснившись в третью комнату, они остановились, увидавши многих знатных господ; тут подошел к ним камер-юнкер цесаревны Петр Иванович Шувалов, поцеловался в знак всеобщей радости и кратко рассказал о случившемся. Едва Шувалов успел окончить свой рассказ, как выбегает из другой комнаты генерал Василий Федорович Солтыков, нерасположенный ни к Шаховскому, ни к Голицыну. Он схватил Шаховского за руку и, громко смеясь, сказал: «Вот сенаторы стоят!» Шаховской отвечал: «Сенаторы, сударь!» Солтыков захохотал еще громче и закричал: «Что теперь скажете, сенаторы?» Эта сцена привлекла толпу зрителей, и, чтоб выйти из своего странного положения, Шаховской начал говорить Солтыкову: «Что это значит, что вы теперь в такое время, когда все радуются, так нас атакуете? Не находите ли на нас какой

метки? Или по высочайшему повелению так с нами поступаете; так бы соизволили нам надлежащим образом объявить; а мы во всем по незазренной совести без боязни отвечать готовы». Солтыков усмирился и отвечал с ласковою улыбкою: «Я, друг мой, теперь от великой радости вне себя и поступил так по дружеской любви, а не по какой другой причине: я вам сердечно желаю всякого благополучия и поздравляю со всеобщею радостью». При этом он расцеловал Шаховского в обе щеки и поспешно скрылся в другую комнату.

Глава вторая

Царствование императрицы Елисаветы Петровны. Конец 1741 и 1742 год

Манифест с объяснением прав Елисаветы на престол. – Намерение относительно Брауншвейгской фамилии. – Приезд герцога Голитинского в Россию. – Возвышение Алексея Петровича Бестужева-Рюмина и Черкасова. – Первые милости. – Возвращение ссыльных. – Лейб-компания. – Суд над Остерманом, Минихом, Левенвольдом и другими; их ссылка. – Восстановление Сената в прежнем значении, какое он имел при Петре Великом. – Управление иностранными делами. – Деятельность Сената. – Отношение к иностранцам. – Драка в Петербурге с иностранными офицерами. – Духовенство. – Выходки проповедников против низвергнутого правительства. – Деятельность Синода. – Финансы. – Промышленность. – Указ о жидях. – Меры относительно крестьян и дворовых людей. – Отъезд двора в Москву. – Коронация Елисаветы. – Милости. – Назначение наследником престола Петра Федоровича. – Распоряжения относительно Москвы. – Заговор Турчанинова. – Положение правительственных лиц в начале царствования Елисаветы. – Их отношения к делам европейским. – Переговоры с Швецией и возобновление войны. – Волнение в русском лагере, направленное против иностранцев. – Возобновление переговоров. – Сношения с Францией, Англией, Даниею, Австриею, Пруссиею, польско-саксонским двором, Турциею и Персиею.

Мы видели, что в манифесте 25 ноября обещан был другой манифест, «с обстоятельством и с довольным изъяснением». Обещанный манифест вышел 28 ноября. В нем прежде всего указывается на порядок престолонаследия, определенный завещанием Екатерины I и утвержденный присягою всего народа; здесь в случае бездетной смерти Петра II престол переходил к цесаревне Анне и ее потомству, после – к цесаревне Елисавете, после Елисаветы – к великой княжне Наталье Алексеевне; мужескому полу дано предпочтение пред женским, но зато постановлено, что никто не принадлежащий к православному исповеданию или имеющий другую корону не может быть наследником. На основании этого пункта по смерти Петра II Елисавета была единственною законною наследницею; но недоброжелательными и коварными происками Андрея Остермана духовная Екатерины по смерти Петра II была скрыта, ибо тогда все важнейшие дела были в его руках; происками его же, Остермана, желавшего удалить Елисавету, как знавшую многие его коварные и вредные государству поступки, избрана была на престол Анна Иоанновна. Когда в 1740 году Анна разболелась смертельною болезнью, он же, Остерман, сочинил определение о наследстве, по которому престол переходил к сыну принца Антона Брауншвейгского от мекленбургской принцессы Анны и к большому оскорблению и удалению от престола Елисаветы определен был порядок престолонаследия в Брауншвейгской фамилии. Анна подписала определение, будучи уже в крайней слабости. Все были принуждены присягать Иоанну Антоновичу, потому что гвардия и полевые полки были в команде графа Миниха и принца Антона. Принц Антон с женою присягали сами соблюдать и сделанное покойною императрицею определение о регентстве, но потом с помощью графов Остермана, Миниха и Головкина, презря свою присягу, эти определения нарушили, правительство империи в свои руки насильством взяли; принцесса Анна Мекленбургская не устыдилась назвать себя великою княгинею всероссийскою, отчего не только большие беспорядки, крайние утеснения и обиды начались, но даже отваживались утвердить принцессу Анну императрицею всероссийскою еще при жизни сына ее. Тогда Елисавета соизволила воспринять родительский престол по проше-

нию всех верноподданных, «а наипаче и особливо лейб-гвардии нашей полков». Манифест оканчивался так: «и хотя она, принцесса Анна, и сын ее, принц Иоанн, и их дочь, принцесса Екатерина, ни малейшей претензии и права к наследию всероссийского престола ни по чему не имеют, но, однако, в рассуждении их, принцессы и его, принца Ульриха Брауншвейгского, к императору Петру II по матерям свойств и из особенной нашей природной к ним императорской милости, не хотя никаких им причинить огорчений, с надлежащею им честью и с достойным удовольствием (удовольствованием), предав все их вышеписанные к нам разные предосудительные поступки крайнему забытию, всех их в их отечество всемилостивейше отправить повелели».

В минуту издания этого манифеста Елисавета действительно хотела отправить Брауншвейгскую фамилию как можно скорее из России. Она говорила Шетарди: «Отъезд принца и принцессы Брауншвейгских с детьми решен, и, чтоб заплатить добром за зло, им выдадут деньги на путевые издержки и будут с ними обходиться с почетом, должным их званию». Елисавета хотела назначить им более или менее значительное годовое содержание, смотря по тому, как они будут вести себя в отношении к ней; оставляла принцессе орден Св. Екатерины, принцу Антону, его сыну и брату – Андреевский орден. Но в то же время она послала в Киль за племянником своим, молодым герцогом Голштинским; его овладело беспокойство, допустят ли его спокойно приехать в Россию, и в этом беспокойстве ей пришла мысль или была внушена другими – задержать Брауншвейгскую фамилию в дороге и в Риге, до тех пор пока герцог Голштинский достигнет русской границы. Поэтому Василий Федорович Солтыков, провожавший Брауншвейгскую фамилию, получил указ, что хотя в инструкции и велено ему было в города не заезжать, однако по некоторым обстоятельствам теперь это отменяется, и он должен продолжать путь как можно тише и останавливаться дня по два в одном месте. За герцогом Голштинским был отправлен майор барон Николай Фридрих Корф, который благополучно и привез герцога в Петербург 5 февраля 1742 года вместе с обер-гофмаршалом его Брюммером и обер-камергером Бергхольцем. Императрица немедленно надела на племянника Андреевскую ленту с бриллиантовой звездой, а герцог дал учрежденный отцом его орден Св. Анны Разумовскому и Воронцову. 10 февраля праздновалось рождение герцога: ему исполнилось 14 лет. Мы видели, что во втором манифесте выставлено было распоряжение Екатерины, по которому после Петра II престол принадлежал герцогу Голштинскому; Елисавета получала право с устранением племянника только потому, что он не был православного исповедания. Но императрица отказывается от брака и намерена объявить племянника наследником престола; для этого необходимо, чтоб герцог принял православие, и, пока это условие не выполнено, внук Петра Великого величается его королевским высочеством, владетельным герцогом Голштинским.

С первых же дней нового царствования было видно, что с переменою лиц произойдут немедленные перемены и в учреждениях. Нет души Кабинета – Остермана, нет помину и о самом Кабинете, упоминается чрезвычайный совет по внешним и внутренним делам – *«учрежденное при дворе министерское и генералитетское собрание»*. В этом собрании нет Остермана, Миниха, Головкина, но нет новых назначений с целью заменить выбывших, особенно Остермана. Кто будет вести внешние сношения в такое трудное время, когда вся Европа в пламени и изо всех сил стараются втянуть в пламя и Россию? Никто, разумеется, за телом Кабинета – великим канцлером князем Черкасским не признавал способности заменить душу Кабинета – Остермана. И падшее правительство для противодействия Остерману нашлось вынужденным возвратить из ссылки Алексея Петровича Бестужева; новое правительство, естественно, должно было остановиться на том же Бестужеве для совершенной замены Остермана. Говорят, что Лесток особенно располагал Елисавету в пользу Бестужева, и прибавляют, будто императрица пророчила Лестоку, что он выводит Бестужева на свою голову. Мы не поручимся, что пророчество не выдуманно после своего исполнения; но ходатайство Лестока нам очень

понятно, ибо вспомним, что во время своей беды старик Бестужев завел связи со двором цесаревны Елисаветы, и именно с Лестоком. Это самое обстоятельство заставляло, разумеется, и саму Елисавету благоприятно смотреть на Бестужевых. Потом Бестужев был поднят, сделан кабинет-министром в конце царствования Анны, когда Бирон, покровитель Бестужева, рассорился с Брауншвейгскою фамилиею и поэтому сближался с Елисаветою, с которою никогда не ссорился; сближение это усилилось во время регентства; понятно, что Бестужев, которого интересы были тождественны с интересами Бирона, должен был также сблизиться с цесаревною и ее двором и, разумеется, сумел это сделать. Регентство Бирона возбуждало в новой императрице очень приятное воспоминание; понятно, что в этом воспоминании Бестужев должен был занимать видное место.

Таким образом, благосклонность Елисаветы к Бестужевым даже и без внушений Лестока объясняется легко, и доброе расположение Лестока объясняется также легко, само по себе. 29 ноября дан был Сенату именной указ, чтоб Алексею Петровичу Бестужеву-Рюмину «для его известно неповинного претерпения» старшинство иметь с того времени, как он от императрицы Анны Иоанновны в тот чин пожалован, именно с 25 марта 1740 года. И в тот же день был дан указ о повышении человека, который в самом начале был одним из главных членов бестужевской партии, — Черкасова: прежде бывший тайный кабинет-секретарь Иван Черкасов был пожалован в действительные статские советники и назначен при дворе ее величества при отправлении комнатных письменных дел. Бестужеву легко было напомнить Елисавете о Черкасове, верном слуге ее отцу и матери, подвергшемся гонению после их смерти, с тех пор как и она сама стала терпеть беды.

Наступило 30 ноября, первое торжество в новое царствование, и торжество особенно важное в настоящем случае, ибо напоминало великого родителя императрицы, — наступил орденовский праздник Андрея Первозванного. После литургии в придворной церкви императрица пожаловала Андреевскую ленту троим генерал-аншефам — Румянцеву, Чернышеву и Левашову — и действительному тайному советнику Алексею Петровичу Бестужеву-Рюмину; уже имевшим ордена Ушакову, графу Головину и князю Куракину — золотые цепи ордена; кроме того, кавалеры прежнего двора цесаревны Петр и Александр Шуваловы, Воронцов и Разумовский сделаны действительными камергерами. Потом в разные числа 1741 и начала 1742 года пожалованы: Герман Лесток за его особливые и давние услуги и чрезвычайное искусство первым лейб-медиком в ранге действительного тайного советника с назначением главным директором над медицинскою канцеляриею и всем медицинским факультетом с жалованьем по семи тысяч рублей. Бестужев и Черкасов не могли забыть своих приятелей: Исаак Веселовский из ассессоров произведен в действит. стат. советники и определен в коллегия Иностран-ных дел; подполковник артиллерии Авраам Петров Ганнибал произведен в генерал-майоры, сделан обер-комендантом в Ревеле и получил 569 душ крестьянских; Михаила Петр. Бестужев-Рюмин пожалован в обер-гофмаршалы.

Вместе с указами о наградах Сенат получил указы о возвращении пострадавших в прежнее царствование. 4 декабря князья Василий и Михаила Владимировичи Долгорукие, возвращенные из заточения, восстановлены в прежних чинах и за старостью отставлены от службы; но 23 декабря князь Василий Владимирович сделан президентом Военной коллегии. Князю Сергею Мих. Долгорукому и графу Платону Мусину-Пушкину позволено выехать из деревень — первому в Петербург, а другому — в Москву. Федор Соймонов выпущен из деревень с позволением жить, где пожелает; секретарю Суде позволено из Москвы выехать в Петербург. Вспомнили о знаменитой свояченице Меншикова Варваре Арсеньевой, освободили ее из монастыря, в который она была сослана в 1728 году, и позволили жить в Москве, в котором захочет монастыре. 8 января детям Волынского возвращено все конфискованное имение отца; а чрез десять дней последовал указ об освобождении из ссылки Бирона, братьев его и Бисмарка, об увольнении их из службы и о возвращении Бирону силезского имения Вартенберга, отданного было

Миниху. Матрос Максим Толстой, который в 1740 году не хотел присягать Иоанну Антоновичу и за то был истязан, изуечен, произведен в армейские капитаны, уволен в отставку за увечье и награжден пятьюстами рублей. Понятно, что теперь старые доносы на опальных аннинского царствования не считались более заслугами, и доносчик на Долгоруких, Сибирского приказа секретарь Осип Тишин, за непорядочные и противные указам поступки, за неспособность и пьянство отставлен был от должности, с тем чтоб никуда не определять.

Мы видели, что Елисавета согласилась на просьбу гренадерской роты Преображенского полка быть ее капитаном. В последний день 1741 года состоялся именной указ: «Понеже во время вступления нашего на всероссийский родительский наш престол полки нашей лейб-гвардии, а особливо гренадерская рота Преображенского полка, нам ревностную свою верность так показали, что мы оною их службою, помогающе нам всемогущему господу богу, желаемый от всего государства нашего успех в восприятии престола безо всяких дальностей и не учиня никакого кровопролития получили; и яко же мы в том благодарны есть господу богу, подателю всех благ, за неизреченную его милость к нам и всему государству нашему, так, имея во все-милостивейшем нашем рассуждении и верную службу вышеписанных, не можем остаться, не показав особливой нашей императорской милости к ним». Милость состояла в том, что офицерам гвардии и двух полков – Ингерманландского и Астраханского – выдана была денежная сумма, равнявшаяся третнему жалованью; солдатам выдано было на Преображенский полк 12000 рублей, на Семеновский и Измайловский – по 9000, на конный – 6000, на Ингерманландский и Астраханский – по 3000. Гренадерская рота Преображенского полка получила название лейб-компании, капитаном которой была сама императрица, капитан-поручик равнялся полному генералу, два поручика – генерал-лейтенантам; два подпоручика – генерал-майорам, прапорщик – полковнику, сержанты – подполковникам, капралы – капитанам. Потом унтер-офицеры, капралы и рядовые пожалованы были в потомственные дворяне; в гербы им внесена надпись: «За ревность и верность». Обер- и унтер-офицеры и рядовые лейб-компании получили деревни и некоторые – с очень значительным числом душ, например адъютант Грюнштейн – 927 душ; 258 человек рядовых получили каждый по 29 душ. Богатое пожалование Грюнштейну объясняется тем, что он был постоянно на первом плане между гвардейцами, усердствовавшими Елисавете. Сын саксонского крещеного еврея Грюнштейн 18 лет приехал в Россию искать счастья, начал торговать, накопил денег, отправился в Персию, где прожил 11 лет, но, возвращаясь оттуда с значительным состоянием, был в степи ограблен, избит и оставлен замертво двумя астраханскими купцами; очнувшись, был захвачен в плен татарами, как-то освободился от него и, возвратившись в Россию, начал дело против ограбивших его купцов, но хлопотал напрасно, потому что противники задаривали судей. В отчаянии Грюнштейн поступил рядовым в Преображенский полк и перешел из лютеранства в православие. В последний же день 1741 года отняты были всякого рода пожалования у тех, которые получили их не от коронованных государей, т.е. в царствование Иоанна VI, кроме тех, которые были произведены в чины по удостоению командирскому.

Обер-офицеры и солдаты лейб-компании получили деревни из отписных имений тех лиц, которые были арестованы в ночь на 25 ноября. Главным из них был Остерман – оракул трех царствований. Мы видели, что суд, и суд неправый, над ним уже был произнесен во втором манифесте о воцарении Елисаветы, где на него сложена была вина скрытия распоряжений Екатерины I и, таким образом, устранения дочери Петра Великого от престола; поэтому уже никто не мог ждать помилования знаменитому министру. Над Остерманом накопилось много ненавистей. В восшествии на престол Елисаветы выразилось противодействие порядку вещей, господствовавшему в два предшествовавшие царствования, когда на главных местах с главным влиянием на дела военные и гражданские явились иностранцы. В последнее время Остерман оставался представителем этого порядка, самым видным и влиятельным из людей иностранного происхождения, о котором внутри России говорили, что он немец и потому запечатал

«Камень веры», с именем которого и за границею соединяли мысль о немецком управлении Россиею. После переворота 25 ноября люди, стоявшие наверху и стремившиеся ко власти, все были враждебны Остерману, все имели с ним старые счеты; друзей не было, тем более что характер знаменитого дипломата отталкивал, а не привлекал, такие характеры осуждают людей на одиночество. Таким образом, за Остермана не могло быть ходатаев у новой императрицы, все спешили наперерыв вооружать ее против него, всеобщую ненавистью оправдать ее личное нерасположение, а это нерасположение, как мы видели, было велико. Елисавета не любила Остермана, потому что с его стороны не встречала к себе ни малейшего сочувствия, на которое считала себя вправе как дочь Петра Великого, выведшего Остермана; с Петра II между Елисаветой и Остерманом должны были начаться столкновения, борьба за влияние; при Анне примирения быть не могло, в последнее время к нерасположению присоединился страх. Елисавета более чем кого-либо боялась Остермана, а это чувство не располагает к любви; мы видели, что Елисавета даже не могла сдерживаться и позволяла себе выходки против Остермана, который платил тем же; при всей своей осторожности и скрытности он не мог удержаться и, когда пришли арестовать его, сделал выходку против Елисаветы, что, разумеется, не могло содействовать к смягчению гнева новой императрицы.

Комиссия, которой было поручено производить следствие над Остерманом с товарищами, состояла из генералов Ушакова и Левашова, тайного советника Нарышкина, генерал-прокурора князя Трубецкого и князя Михаила Голицына. Остермана спрашивали, зачем он не приводил в действие распоряжения Екатерины I о престолонаследии и участвовал в выборе Анны Иоанновны. Он отвечал, что во время болезни Петра II был при нем безотлучно и находился в таком состоянии, что себя не помнил; за ним прислали и объявили, что избрана Анна; при этом он представлял цесаревну Елисавету; но не согласились. В царствование Анны словесные от императрицы предложения при нем и Бироне были неоднократно, чтоб Елисавету, сыскав жениха, отдать в чужие края, и от него о том письменные проекты были. В угождение императрице Анне он писал проект об отлучении Елисаветы и герцога Голштинского от престола. На обвинение в том, что покровительствовал иностранцам в предосуждение русским людям, Остерман отвечал: чужих наций людей в российскую службу больше и больше принимать и их в знатные достоинства производить и награждать, а российских природных от произвождения отлучать и их всякой милости лишать не старался, в чем он ссылается на поданное им по требованию бывших регента и правительницы о государственном правлении мнение, в котором о произвождении и награждении российского народа перед чужестранцами во всяких случаях именно написано. Спрашивали, для чего принцессе Анне внушал, чтоб Лестока в крепость посадить и допрашивать. Остерман отвечал: для того, что в письме и предостережении, присланном из-за границы, Лесток именно упомянут; но он, Остерман, мнение объявил, чтоб принцесса для показания к цесаревне Елисавете конфиденции сообщила ей об этом и, если не хочет одна этого сделать, чтоб изволила в присутствии кабинет-министров исполнить. Когда принцесса дала ему знать о своем разговоре с цесаревною Елисаветой, то он отвечал, что, по его мнению, цесаревна действительно о том не знает, причем было ему приказано стараться об отзыве из Петербурга подозрительного французского министра Шетарди.

Но был вопрос, на который оракул не нашел ответа: «В доме у тебя в письмах найдено по делу Волынского некоторые из комиссии подлинные дела и черные экстракты, да сверх того к оскорблению и обвинению Волынского. Явилось собственное твое мнение и прожект ко внушению на имя императрицы Анны, каким бы образом сначала с Волынским поступить, его арестовать и об нем в каких персонах и в какой силе комиссию определить, где между прочими и тайный советник Неплюев в ту комиссию включен; чем оную начать, какие его к погублению вины состоят и кого еще под арест побрать; и ему, Волынскому, вопросные пункты учинены; для чего ты Волынского так старался искоренить?» Остерман отвечал: «Виноват и согрешил. Неплюев к тому делу по представлению моему определен для того, что он, Неплюев, был мне

приятель, дабы чрез него о всем в том происхождении ведать мог, ибо Волынский против меня поднимался». Остерман дополнил свои показания тем, что относительно наследства дочерей принцессы Анны советовал делать дело чрез прошение народное, о чем просил Левенвольда внушить принцессе.

Вторым государственным преступником был фельдмаршал Миних, находившийся со врагом своим Остерманом в одинаковом положении. Остерман приобрел себе только врагов, а не друзей своею недоверчивостью, скрытностью, своею таинственной речью, которой никто не понимал, страшным честолюбием, вследствие которого он не допускал ни высшего, ни равного, если только они не были в умственном отношении ниже его, стремлением заправлять всеми делами, оставляя другим только подписывать их. Миних, по-видимому, представлял противоположность Остерману своею живостью, своею обильною и откровенною речью; но если нынче он обошелся с человеком так ласково, так сердечно, что тот не нахвалится и готов идти за него в огонь и воду, то завтра он обойдется с тем же самым человеком так не по-человечески, что навсегда оттолкнет его от себя; смесь хороших и дурных качеств и отсюда постоянная смена хороших и дурных поступков не давали никому ручательства в прочности отношений своих к фельдмаршалу и заставляли сторониться от него, тем более что этот человек не разбирал средств, прокладывая себе дорогу к чему-нибудь, толкая всех встречных. Таким образом, и Миних не мог найти заступника.

Сама Елисавета кроме невнимания могла обвинять его и в поступках прямо враждебных: он приставлял к ней шпионов в царствование Анны. Было еще любопытное обвинение: гвардейские grenадеры показали, что Миних, приглашая их арестовать Бирона, упоминал о цесаревне Елисавете и ее племяннике герцоге Голштинском. Об этом записаны два несогласных показания, из которых в одном говорится: «Бывшие при арестовании Бирона на карауле grenадеры объявили, что, пришед-де оный фельдмаршал к караулу, говорил им: „Хотите ли вы государю служить – ведайте, что регент есть, от которого государыне цесаревне, племяннику ее, принцу Иоанну, и родителям его есть утеснение, и надобно-де его взять“, и спрашивал их: „Ружья у вас заряжены?“ На что они отвечали: «Готовы *государю* с радостью служить». И пошли, и взяли; а потом уже они, видя, что на другой день дело не туда пошло, руки опустили. И того ради оному Миниху представлены тех grenадеров девять человек, которые нынче в лейб-компании, и сказали, что-де он им, тогда бывшим на карауле, именно пред фрунтом о государыне императрице Елисавете Петровне и принце Голштинском говорил. На что он, граф Миних, отвечивал, что он таких речей, как они объявляют, не говаривал. И в том обе стороны на очной ставке на своих словах сначала утверждались, но потом, когда от них, лейб-компании прапорщика, вахмистров и рядовых, он, граф Миних, в том уличен стал, то он признался, говоря, что понеже он слабую имеет память, яко же для того и об отставке от службы просил, то такие слова, какие они показывают, он тогда, как ныне припоминает, говорил и что в том за своим беспамятством прежде не признался, в том признает себя винна и просит о милосердии, а те слова, без сомнения, говорил для того, чтоб тогда тех grenадер в исполнение воли принцессы Анны тем больше анкуражировать». В этом показании есть ложь об утеснении Бироном цесаревны и ее племянника, но нет обмана, ибо прежде всего Миних спрашивает, хотят ли солдаты служить государю, и после всего солдаты говорят, что готовы с радостью служить государю; другого государя, кроме того, которому они присягали, никто разуместь не мог. Другое показание говорит яснее: Миних, подойдя к караульным, сказал, что ежели они хотят служить цесаревне Елисавете и ее племяннику, так шли бы с ним арестовать Бирона, «ибо-де, кого хотите государем, тот и быть может, хотя принц Иоанна или герцога Голштинского», что они, слыша все, согласно сказали, что ее величеству (Елисавете) служить охотно желают.

Под одну опалу с такими видными людьми, как Остерман и Миних, подпал и относительно темный человек, обер-гофмаршал Левенвольд. Обязанный своим возвыщением фавору Екатерины I, он выдвинул Остермана, которого, как мы видели, бестужевская партия иначе не

называла как «клеатурую (креатурую) Левольда». Теперь Левенвольд пал вместе с своей креатурой, ненавидимый русскими как сильный по своему придворному положению член немецкой партии, без сочувствия и со стороны немцев, которые не могли найти в нем ничего хорошего, не могли толковать, что Россия много потеряла в Левенвольде, как толковали, что Россия не заменит Остермана и Миниха. Наконец, Левенвольд заслужил личное нерасположение Елисаветы, хотя и оправдывался, что действовал по приказанию правительницы, но такие оправдания в подобных случаях не принимаются. «К нынешней государыне, – говорил Левенвольд, – я всегда имел свое должнейшее почтение, а что в торжество дня рождения принца Иоанна для нее при публичном столе поставлен был стул с прочими дамами в ряд, то сие учинено по приказу принцессы, а не по моему рассуждению, и хотя я при том ей представлял, что не обидно ли то будет цесаревне, однако ж она мне именно приказала, чтоб тарелку положить так, как выше написано, и я-де как сама выйду, то уже сделаю, что надобно». Головкин, Менгден, Темирязов, Яковлев допрашивались как слишком усердные слуги падшего правительства. По окончании следствия, 13 января, Сенат получил указ «судить их по государственным правам и указам». Кроме сенаторов для этого суда приглашены были и другие лица, президенты коллегий. По выслушании экстрактов из дела долго рассуждали, потом начали собирать голоса с младших: Остермана приговаривали к смертной казни просто; князь Василий Владимирович Долгорукий имел слабость произнести смертную казнь колесованием. Миних приговорен был к четвертованию, Головкин, Менгден, Левенвольд и Темирязов – к отсечению головы.

Бестужев, или находившийся еще под впечатлением недавнего суда и приговора над ним самим, или желая показаться великодушным пред иностранцами, говорил секретарю саксонского посольства Пецольду, что приговор, произнесенный судною комиссиею над Остерманом с товарищами, ужасен, что канцлер князь Черкасский и генерал-прокурор князь Трубецкой настояли, чтоб Остерман был приговорен к колесованию, а Миних к четвертованию, но что он, Бестужев, надеется на милосердие императрицы и вместе с Лестоком употребит все старание, чтоб это милосердие оказалось именно в этом случае.

17 января утром по всем петербургским улицам раздавался барабанный бой: народу объявили, что на следующий день в 10 часов утра будет совершена публичная казнь над врагами императрицы и нарушителями государственного порядка. 18 числа с раннего утра толпа уже начала собираться на Васильевском острове, на площади перед зданием коллегий: здесь Астраханский полк окружал эшафот, на котором виднелось роковое бревно (плаха). Арестанты в то же утро были переведены из крепости в здание коллегий. Как только пробило 10 часов, их начали выводить на площадь. Впереди всех показался Остерман, которого по причине болезни в ногах везли на извозничьих санях в одну лошадь, на нем был небольшой парик, черная бархатная фуражка и старая короткая лисья шубка, в которой он обыкновенно сидел у себя дома. За Остерманом шли: Миних, Головкин, Менгден, Левенвольд и Темирязов. Когда они все поставлены были в кружок один подле другого, четыре солдата подняли Остермана и внесли на эшафот, где посадили на стул; сенатский секретарь начал читать приговор, который Остерман должен был выслушивать с обнаженною головою. Бывший великий адмирал обвинялся в утайке духовной Екатерины I, в составлении проектов, где доказывал, что Елисавета и племянница ее не имеют права на престол, и предлагал для предотвращения всяких опасностей выдать Елисавету замуж за чужестранного убогого принца, а «паче всего» дерзнул составлять проекты о приобщении к наследию русского престола дочерей мекленбургской принцессы Анны. Он же, Остерман, учинил императрице еще разные озлобления; кроме того, не представлял о лучшей предосторожности к защите государства; в важных делах с прочими поверенными персонами откровенных советов не держал, но обыкновенно поступал по собственной воле; к некоторым важным делам в предосуждение всего российского народа употреблял чужих наций людей, а не российских природных и, будучи в своем министерстве, имея все государственное правление в своих руках, многие славные и древние российские фамилии опровергать и искоренять,

у монархов во озлобление приводить, и от двора многих отлучать, и жестокие и неслыханные мучения и экзекуции как над знатными, так и над незнатными, не щадя и духовных персон, в действо производить, и между российскими подданными несогласия вселить старался и т.п. После прочтения приговора солдаты положили Остермана на пол лицом вниз; палачи обнажили ему шею, положили его на плаху, один держал голову за волосы, другой вынимал из мешка топор. В эту минуту подходит к осужденному тот же секретарь, вынимает другую бумагу и читает: «Бог и государыня даруют тебе жизнь». Тут солдаты и палачи подняли его, снесли с эшафота и посадили на прежние сани, на которых он оставался все время, как читали приговоры его товарищам.

Миниху читали, что он не защищал духовной Екатерины I, хлопотал больше других о возведении Бирона в регенты, того же Бирона низверг для частных своих выгод, причем обманул солдат, сказавши им, что регент притесняет цесаревну Елисавету и ее племянника и кого они хотят государем, тот и быть может – принц Иоанн или герцог Голштинский; делал нынешней императрице многие озлобления, приставлял шпионов наблюдать за нею, командуя армиею, не берег людей, позорно наказывал офицеров без суда, расточал государственную казну. Головкин, Левенвольд и Менгден обвинены в стараниях в пользу принцессы Анны; кроме того, второй – в расточении суммы, сбиравшейся от казенной продажи соли, а третий – в злоупотреблениях по президентству в Коммерц-коллегии; Темирязов – за известные нам движения в пользу бывшей правительницы. Всем этим лицам объявлено было помилование без возведения на эшафот. В Остермане после помилования не заметили никакой перемены, кроме некоторого дрожания рук; Миних вел себя во все время мужественно и гордо, Левенвольд спокойно и прилично, в Головкине и Менгдене зрители заметили малодушие. Когда народ увидел, что во вчерашнем объявлении его обманули, никому не отрубили головы, то встало волнение, которое должны были усмирить солдаты. Некоторые могли быть недовольны тем, что не видали, как рубят головы людям; другие могли быть недовольны тем, что недавно рубили же головы Долгоруким, Волынскому, за что же помилованы Остерман, Миних и Левенвольд; но историк должен заметить, что после кровавых примеров аннинского царствования никто из людей, враждебных и опасных правительству, не был казнен смертью, при допросах никого не пытали.

Сибирь назначена была местом ссылки избавленных от смерти лиц (Остерману – Березов, Миниху – Пелым), только для Левенвольда назначен был Соликамск. Отправить их из крепости в ссылку поручено было не раз упомянутому уже нами князю Якову Шаховскому, который за дружбу с Головкиным исключен был из списка сенаторов и определен обер-прокурором в Синод. Шаховской оставил нам рассказ, как он исполнил свое печальное поручение. Вошедши в казарму, где содержался Остерман, он нашел его лежащим и громко жалующимся на подагру; увидав Шаховского, он изъявил сожаление о своем преступлении и прогневлении государыни и окончил просьбою поручить покровительству императрицы детей его. Жена его отправилась вместе с ним в ссылку. «О ней, – говорит Шаховской, – кроме слез и горестного стенания, описывать не умею».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.